

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

№ 1. 1930



ИЗД-ВО
П. П. СОЙКИН
ДЕНИНГРАД

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ

ВЫХОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНО

ПОДПИСНАЯ
ЦЕНА НА ГОД 5 РУБ.
С ДОСТ. И ПЕРЕС.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ - ЛЕНИНГРАД, СТРЕМЯННАЯ 8
ИЗДАТЕЛЬСТВО «П. П. СОЙКИН»

СОДЕРЖАНИЕ

№ 1—1930 г.

	СТР.		СТР.
ОКОНЧАНИЕ КОНКУРСА «НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ» — ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ	2	ние задачи и присуждение пре- мий по рассказу «Всадник без головы».	43
«ЗАМОК БУБЕН», — премиро- ванный рассказ И. И. Мака- рова-Буйного, иллюстра- ции М. Пашкевич	4	«ЦЫГАНЕ», — очерк К. Берко- вичи, иллюстрации Г. Мак- кормика	48
«ЛАГУНА», — рассказ Михаила Огнева, иллюстр. М. Паш- кевич	14	«ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК», — очерки Б. П. Никонова, иллю- страции И. И. Карпова. —	
«НАРЦИЗМ», — статья проф. В. М. Нарбута, научное послесловие к рассказу «Лагуна»	26	«БАНДИТЫ»	53
«ЗА РАБОТОЙ». — «ДИРЕКТОР- ША», — премированный рас- сказ Б. В. Бажанова, иллю- страции Н. М. Кочергина.	27	«ИДИЛИЯ»	56
Систематический Литера- турный Конкурс «Мира Приключений» 1929 г.:		«ЧУДЕСНЫЙ КРЕМ», — юмори- стический рассказ Г. Радклиф, иллюстрации Д. Вилькинсона.	58
«ТЕСНЫЙ СВЕТ», — литературная задача-рассказ № 8	38	«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ»: «ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ ПРИ- РОДЫ И ДРЕВНЕЙ МУДРО- СТИ», — очерк д-ра З., с иллю- страциями	63
ОКОНЧАНИЕ КОНКУРСА № 4. Отчет о Конкурсе В. Б., реше-		«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ»! Задачи . . . стр. 2 и 3 обложки.	
		ШАХМАТНЫЙ ОТДЕЛ стр. 4 обложки.	
		ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК стр. 3 обложки.	

Обложка в 7 красок работы худ. Марии Пашкевич.

„НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ“

Окончание конкурса.—Присуждение премий.

Рассказы, художественно изображающие быт на фоне сравнительно малоизвестной природы и условий окраин неосвободившегося Союза Республик, представляют собой один из обычных жанров литературного материала «Мира Приключений».

Объявленный журналом в конце прошлого года специальный Конкурс на лучший рассказ с мотивами жизни наших окраин имел целью усилить интерес и вызвать соревнование в дальнейшем наблюдении и изучении колоритного в своей экзотичности и яркого по непосредственности и силе переживаний быта людей, еще не порвавших веками крепкой связи с почти девственной природой, людей, еще не вполне подпавших под власть нивелирующей силы города и его культуры.

У нас охотно читают и ищут книг с описаниями нравов и обычаев заморских экзотических стран, но наша окраинная экзотика для многих до сих пор мало интересна, чужда, непопулярна. И наш конкурс помимо красочной цели преследовал и чисто литературную: дать рассказы с интересными фабулами, художественно разработанными, сохраняя непременно краски и особый аромат, свойственные именно тем далеким окраинам, где протекает действие.

Была и еще одна причина объявить именно такой Конкурс. Смена одной культуры другой, быть может, не так разительна в городах, потому что повизна, распыляясь на мириады мелочей, входит во все поры сложного урбанистического обихода; обветшалое, вросшее, кажется, в самые камни города, цепляется как мох за малейшую расселину в камне. Иное дело — простор далеким окраин, где перелом ярок, силен и прост, как ярок, силен и вместе с тем прост самый быт. Революционная наша эпоха, кровное детище города, докатилась свои валы и до далеким окраин. И там теперь зарастает рубеж старины и новизны, сливается великий водораздел двух смежных, но далеким по духу времен.

В эти годы резких контрастов жизнь на далеким окраинах должна быть особенно интересна и для бытописателя, и для читателя.

На этот Конкурс, как и на все конкурсы 1929 г., были допущены только произведения постоянных читателей «Мира Приключений», т. е. число участников состязания было заведомо сужено.

Тем не менее, на Конкурс поступило 234 произведения. Большинство из них отвечает основному заданию, так как действие происходит на далеким окраине, но только очень немногие рассказы в той или иной мере удовлетворяют требованиям Конкурса. Одни авторы дали очень длинные и скучные краеведческие очерки, иногда типа научного исследования, даже не попытавшись облечь их в художественную форму; другие — увлеклись флорой и фауной и утонули в описаниях; третьи — не сумели отразить на своих страницах колорита местности; четвертые — плохо разработали сюжет; пятые — взяли уж очень широко использованные за последнее время темы (например, снятие паранджи), не найдя ни новых положений, ни новых слов для иллюстрации коренного перелома в жизни Востока; иные — подошли к интересной теме совершенно публицистически, забыв, что Конкурс требует художественно-литературных произведений, и т. д.

Жюри рассмотрев присланные на Конкурс рассказы, постановило:

I. Признать заслуживающими упоминания следующие произведения, перечисляемые в алфавитном порядке фамилий авторов:

«Проклятый край» — И. С. Благий (Хабаровск). «На далеких окраинах» — В. Глинкова (Архангельск). «Смерть вождя вольницы» — Д. В. Гришин (Ленинск). «Алла Разусым» — Н. В. Гульбина (ст. Хилково). «На тигровом следу» — Г. П. Дауров (ст. Тулун). «В черных горах» — К. Г. Драгулев (Грозный). «В стране чудесных вод» — А. С. Ильиных (Томск). «Тайга» — В. Кривошеев (ст. Бочкарева). «Песок горит» — А. М. Кропачев (Мерв). «Жертва» — Я. С. Лентяшев (Симферополь). «В стране оленей и Коми (Зырян)» — Т. П. Мальцев (Сталинград). «Двойной шаман» — А. Михайлов (Москва). «Сонный корень» — Л. Н. Невеская (Москва). «Нерповщики» — Б. О. Патушинский (Иркутск). «Голубая лщерица» — М. П. Плотников (Красноярск). «В степи» — П. Д. Пугачев (Кострома). «Могила шестерых» — Е. В. Путилов (Ош). «На медведя» — А. Раздольный (Москва). «Гьянэгу» — Н. К. Розеншильд (Майкоп). «На далеких окраинах» — П. Соколов (Владикавказ). «Бахар» — И. Д. Телицын (Баку). «В стране белого золота» — Н. П. Ткач (Самарканд). «Смерть Чернышева» — К. Фарафонов (Ленинград). «На стойбище» — Е. И. Шведер (Днепропетровск). «Последние дни» — В. Шиманский (Коканд).

II. Присудить первую премию ИВАНУ ИВАНОВИЧУ МАКАРОВУ (БУЙНОМУ) (литератор, Рязань), за рассказ «Замок бубен», как наиболее удовлетворяющий всем требованиям Конкурса. Жюри отмечает тонкую психологическую разработку трудного сюжета молодым автором, его прекрасный, образный язык и новую манеру письма талантливого И. Макарова — мягкую, полную лирических настроений акварельную живопись, свидетельствующую, что он умеет работать не только маслом и крупными, характерными мазками на большом полотне.

III. Присудить вторую премию СЕРГЕЮ АРИСТАРХОВИЧУ СЕМЕНОВУ (Научный сотрудник, Ленинград) за рассказ «Урус-Батырь». Отмечается хорошая наблюдательность, осведомленность автора, свежесть колорита и оригинальность сюжета.

IV. Присудить третью премию МИХАИЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ КУДРЯВЦЕВУ (красноармеец, Москва) за рассказ «Сороковой медведь». Его отличительная особенность — литературная легкость изложения, живой, безыскусственный, соответствующий фабуле, язык.

V. Все эти три рассказа напечатать в ближайших номерах «Мира Приключений».

Автор награжден 1 премией на Литературном
Конкурсе „Мира Приключений“ 1929 г. „На далеких
окраинах“.

ЗАМОК БУБЕН

Алтайский рассказ

И. И. МАКАРОВА (БУЙНОГО)

Иллюстрации МАРИИ ПАШКЕВИЧ



I.

Жилище Эрлиха¹.

Бывает так в жизни человека: в пору невозвратного детства мелькнет в тумане смутных представлений что-нибудь непонятное, страшное, и с того часу упадет в душу неразгаданная, гнетущая усталость, задумчивость, тоска. И на всю жизнь останется тоска в глубинах человека, все такая же неразгаданная, но жаждающая ответа, жаждающая ясности, алчущая неизмеримо больше, чем пустыня жаждет влаги.

И если разгадает человек свою тоску — откроется ему радость зеленого бархата весны, пьяный запах цветущих лип, красочная прозрачность дали и свистящий звук соколиного полета.

Но горе ему, если не разгадает он тоски своей: всю жизнь будет он терзаться в помыслах своих и в незримых переливах чувств и никуда не скроется от терзаний. Обречен

такой человек на одиночество, на горе, на смерть.

Так священный кам² Минарина, после долгой и жестокой душевной борьбы за «ясность», за «ответ», за право видеть зеленый бархат весны и слышать полет соколов, второй раз в жизни пришел в это страшное ущелье.

Это было великое кощунство притти к подножью жилища черного злого духа Эрлиха. Тут в узком и тесном ущелье на каждом шагу ужас и смерть. Кости!... Кости!... Точно целые века все звери Алтая, влекомые неведомой силой, плелись на склоне своих звериных лет, чтобы истлеть здесь, оставив осклизшийся ребрами костяк свой в знак непримиримой вражды с землей.

Вот огромные рога марала, жалкие рожки козы, широкие ребра сарамыка, вросшие в землю... Кости... кости...

И все они перецелованы желтыми губами веков, пропитаны сырым бальзамом могилы и оплаканы слезами неба — дождем.

Кто кроме кама Минарина знает, как попали они сюда?

Прямо над ним висит черная, рябая скала гранита. На вершине скалы видна огромная каменная плита, напоминающая крышку чудовищного стола. Плита вся обгажена фиалково-красной кровью, густо стекающей на вершину скалы. Пусть кто докажет каму, что это отблески дивного пре-

¹ Злой бог.

² Служитель бога. Жрец.

ломления солнечных лучей в ледниках святой горы Счаскту. Нет и нет! Кам знает, что это кровь тех, кого избрал черный Эрлих себе на пожирание и чьи кости он сбрасывает сюда, на дно пропасти. Это кровь, потому что там, наверху — жилище и каменный стол самого Эрлиха. О черный, свирепый обжора Эрлих!

II.

Власть черного бога.

Первый раз Минарин забежал сюда еще мальчиком, спасаясь от медведя, (на самом деле медведь вовсе не преследовал его, но мальчику все время казалось, что зверь сопит у него за спиной). И уже тогда это жуткое ущелье решило судьбу Минарина. Страх перед медведем сменил другой страх. Детский мозг его не мог разъяснить откуда кости, почему окровавлена каменная плита на скале и почему, когда он прибежал сюда, ущелье завывало как дудка, дудка широкая и длинная, с реку.

Живой и жизнерадостный Минарин с трудом выбрался из ущелья. Придя в аланчик¹, он долго плакал и жаловался матери, что его чуть не съел медведь. С этого дня Минарин странно занемог: он перестал резвиться, по целым дням не выползал из аланчика, все время думал о том, что видел в ущелье. Ни на минуту он не переставал слышать жуткий гул, который слышал там. Какой-то тяжелый темный недуг тяготел над ним. Годы шли. От сидячей жизни у Минарина pokrивели ноги, стала узкая грудь, а живот толстый. Он чем-то напоминал чахлаю козу с раздутым животом. Ему было уже много лет, но думы о страшном ущелье не покидали его.

Однажды отец позвал кама, служителя Ульгена,² и Минарин слышал: кам сказал отцу, что на сына подышал Эрлих.

С заходом солида Минарина увели глубоко в горы. Кам одел на себя ячи,³ сплошь украшенный пугови-

дами, побрякушками и медными кольцами. Длинные, узкие ремни во множестве были прикреплены к нему и каждый из них завершался изображением головы змеи. Сзади у кама висело десять колоколец, гулко звенящих при каждом движении.

Кам одел унизанную побрякушками и перьями шапку из рыси и разложил священный костер. Было безветренно, тонкая и прозрачная струйка дыма впиалась высоко в небо, точно огромная, прозрачная змея поднялась и чуть чуть покачиваясь, стала на хвост.

Минарина кам раздел наголо и положил на козью шкуру у костра. Было свежо и Минарин походил на ошипанного гуся.

Кам взял овальный бубен, больше всего поразивший мальчика. Величина его была каму по пояс. Черная линия делила его пополам. На верхней была выведена дуга и нарисованы два дерева, на которых сидит карагус — священная птица. Справа и слева были нарисованы два круга: светлый — солнце, темный — луна. Какие-то непонятные, таинственные знаки чередовались с изображением ящерид, лягушек и змей.

Кам долго сидел недвижно, что-то бормотал. Изредка он крутил головой, звеня побрякушками, и слегка ударял в бубен огромной кривой колотушкой, тоже испещренной змейками. Потом кам начал бормотать сильнее, подпрыгивать. Наконец, он вскочил и стремительно закружился в воздухе вокруг костра.

Удары в бубен стали гулкими, им вторили беспрерывно звякающие украшения шапки и ячи, несомненно звенели колокольцы. Бормотанье слилось в какой-то бестолковый нечленораздельный звук: — Б-у-у-Э-э-о-о-о.

Камланье продолжалось долго. Желтая пена выступила на губах кама, а он все кружился, прыгал и гукал в бубен и звенел колокольцами...

А в горах было тихо и безмятежно. Сникла заря: темнело зеленое небо, но еще долго, долго оранжевыми и голубыми густыми отливками горели ледники святой горы Счаскту. Широко раздувая ноздри и чуть слышно

¹ Жилище.

² Светлый бог.

³ Шуба.

отстукивая копытом, сверху, с горы, на людей и на бледную струйку дыма строгим бездонно-голубым глазом смотрел дикий козел.

Этот таинственный обряд и одежда кама, перед которой трепещут все алтайцы, не действовали на Минарина. Он только испытывал усталость и озноб и все думал о словах кама отцу. Теперь ему представилось это дыхание Эрлиха: гул и кости в страшном ущелье, медведь, все это слилось в одно, в дыхание злого бога.

После камлания Минарин не поправился. Тогда кам сказал отцу, что нужно сделать большое камлание. Отцу было жаль последнюю лошадь, но кам сказал, что Эрлих изведет его и семью. Отец согласился.

Ранним утром к их аланчику собрались одни мужчины — соседи. Пришел кам и все с трепетом сторонились перед ним. Потом кам вывел их белую лошадь и поехал на ней впереди всех. Минарина тащили под руки и, едва перемогая усталость, он шел за ними. Они пришли в долину реки Ина. Там Минарин увидел место, огороженное березами и обтянутое разноцветными лентами. В землю были вбиты наклонно большие колья. Всюду болтались шкурки белых зайцев и на вертикальных шестах возвышались шесть белых кошек. В середине пылал костер.

Лошадь привязали к кольям, заткнув уши и ноздри. Потом захлестнули за задние ноги ремни и стали тянуть. Она застонала. У ней хрустнули кости. Ее долго со свирепой нагугой рвали в разные стороны, но она еще была жива. Тогда ее удавили арканом, стараясь не пролить кровь и этим не испортить камлания. Лошадь съели, а шкуру и кости положили на березовый жертвенник.

Но и эта молитва не помогла Минарину. В тот же год его отец и мать умерли от лихорадки. Минарина со всем имуществом взял себе кам. Соседи согласились с радостью, потому что на нем было опасное дыхание злого Эрлиха.

Прошло много лет, Минарин окреп. Но ноги его навсегда остались кривыми, как дуги, а живот попрежнему

отвислым. Минарин научился у кама многим премудростям. Он уже знал, что означают непонятные, таинственные знаки на священном бубне. Там была написана главная заповедь милостивого Ульгения: «живите в мире, худа другому не делайте и не жалайте, работайте, не лгите, хорошо скотину держите, а я буду помогать вам».

Минарин и сам готовился в камы.

Умирая, старый кам посвятил его, и Минарин был лучше и удобнее, чем старый кам. Он всегда ездил в первую очередь к бедным алтайцам и никогда ничего не выпрашивал. Он был в большом почете за свою святость. Все до одной хозяйки угощали его аракой¹ или чаем, подбоданным мукой. И все женщины, встречаясь с ним, хватились за косы, в знак высшей почести.

Он всегда молился одному только Ульгению и даже дерзал думать о том, чтобы стать со временем камом Уйч-Курбустана², — создавшего и Ульгения, и злого Эрлиха. Но Эрлих мешал ему. Дыхнувши на него в детстве в темном ущелье, он не переставал тяготеть над его сознанием. И всякий раз, даже во время большого камлания, Минарин то и дело чувствовал, как Эрлих, обманывая Ульгения, проникает в его мысли и владеет им.

Где-то в глубине сознания Минарин чувствовал, что больше он зависит от Эрлиха и боится его. Иногда, окончив камлание, он уходил в горы и, не смея приблизиться к ущелью, издали смотрел, полный страха, на жилище Эрлиха.

Приходила старость и это повторялось все чаще и чаще.

Наконец Ульгень совсем перестал владеть им, хотя камлания он по-прежнему именем Ульгения.

И все же до событий, совершенно заново всколыхнувших Минарина, ни разу в мысль ему не приходило дерзостное намерение проникнуть к жилищу Эрлиха. Хотя где-то в глубине это намерение тайлось, но кам старательно скрывал его даже и от себя, боясь, что Эрлих узнает об этом.

¹ Вино из молока.

² Высшее божество.

III.

Уйч-Курбустан заткнул уши.

Время шло, а кам не мог отделаться от тяготящих, навязчивых дум об Эрлихе. Но скрытая дерзость его постепенно выростала в какой-то душевный протест.

Все прошло бы, может быть, улеглось и окончилось бы по иному, если бы вдруг не случилось так, как предсказало преданье: «когда последний век настанет, и черная земля будет опалена огнем, когда милостивый Уйч-Курбустан заткнет уши, тогда возмутятся народы, пересекутся наследство и родство, поднимется лютый ветер и вся природа нарушит свой закон, злобные глаза человека нальются кровью, застонет развращенная земля и поколеблются горы. Народам не будет мира, а солнце и луне не будет света».

Кам Минарин первый заметил это, когда в горах появились какие-то люди, которых называли басмачами, когда где-то за горой гремели обрывистые удары грома — хотя на небе было чисто, а горы дрожали от этого, и когда в долину пришли какие-то неведомые люди в зеленых шапках, кончающихся прямым рогом и с красной звездой над глазами. Когда Минарин первый раз увидел их, он непоколебимо был уверен, что конец настал.

Потому что тогда же пресекалось и родство: самый благочестивый алтаец-пастух, прозванный за угрюмость Сарамыком, у которого он, Минарин, не раз камлал над коровой, тоже одел на себя зеленую шапку и плясал с этими людьми, подолгу оставаясь на одной ноге, как журавль. Потом ему дали ружье и он надолго ушел в горы с людьми в зеленых шапках. А когда вернулся, уж ни разу не звал к себе кама, хотя беда сыпалась на него за бедой.

«Совсем, совсем милостивый Уйч-Курбустан отвернул лицо свое и заткнул уши. Все, все забыли светлого бога Ульгена... Всех смутил и опутал черный Эрлих — обжора и храпун, — сидя на огромном остро-

ребром камне», — думал Минарин. И сейчас же в душу к нему проник поток неизъяснимой тяготы: что-то огромное давит на его сознание, он точно устал, ничего еще не делая сегодня, точно забыл что-то и мучительно старается вспомнить и не может.

Он думает так мучительно, что мысль его становится похожей на заблудившегося робкого зайчика, и сколько не петляет мысль, она неминуемо приводит к ущелью и сейчас же вспоминается сопенье медведя. И тут же, вслед за медведем, в мозг проникает Эрлих — неразгаданный и тяжелый.

Уж вошло в обычай у кама перед вечером сидеть на этом остроребром камне и глядеть, как на вершине скалы, у самого жилища Эрлиха, загораются фиалково-красные отблески. Непонятые Минарином, неразгаданные отблески солнца и льда. Ему кажется, что Эрлих, невидимый, ляскает кого-то и оплевывает кровью скалу.

Потом кам вспоминает, что с приходом людей с красной звездой на однорогой шапке почти все алтайцы перестали звать его камланить. И не мзды, которую ему давали они, жаль каму, а мучается его душа непонятной, тупой мукой. За всех! За всех! Кам уверен, что скоро, скоро все они начнут тяготиться в тоске, сраженные, как и он, невидимым дыханием коварного Эрлиха. Не совладав с тоской, кам уходил глубоко в горы, постясь и питаясь черемшей¹ и горным шавелем.

И снова возвращался, влекомый какой-то непонятной ему силой.

Однажды кам пробыл в горах 4 дня подряд. А когда пришел, темный от голода и качающийся, он был поражен страшным оживлением, царившим у жилища Эрлиха.

Много лохматых людей, вооруженных палками и стрелами, гнали к вершине скалы, к обрыву, небольшое стадо сарамыков и коз. Быки шли покорно, но лениво, равнодушно приближаясь к обрыву, к пропасти.

¹ Черемша — дикий лук.

Люди, одетые в шкуры, размахивали палками тоже лениво и робко.

Вправо, наравне с ними, Минарин увидел группу людей, одетых в клетчатое, окружавших треножник и какой-то ящик, поблескивающий стеклянным глазом.

Один из клетчатых людей, согнувшись, крутил ручку аппарата, а другой, прикладывая ко рту раструб, кричал во все горло:

— Живей, черти! Жизни, жизни больше! Какой же к черту фильм получится. Да это черепахи, а не охота первобытных алтайцев!

Но слов его не знал и не понял Минарин.

— Сейчас... сейчас, — бессознательно шептал кам.

И в чистоте первобытной и несложной души своей искренно ожидал кам, что сейчас, на глазах у него, ляскнет Эрлик железными зубами и брызнет кровь животных на каменную плиту, похожую на стол. И замер кам Минарин в этом ожидании.

Но вот сарамыки и козы подошли к самому краю и остановились, равнодушно глядя навстречу переряженным в шкуры алтайцам, грозящим палками, и тупо вслушиваясь в крики человека от треножника.



По своему привык он неразбериху, творящуюся у него на глазах.

— Совсем, совсем заткнул уши милостивый Уйч-Курбустан — в страхе шептал он. — Совсем забыли Ульгена, светлого бога. Целое стадо гонят в жертву Эрлику, в пасть черного обжоры — хрипуна...

Потом мысль забылась. Ее сменило какое-то чувство страха и ожидания.

Быки подходили к самому краю пропасти.

Сразу же было видно, что быки дальше не пойдут и не прыгнут в пропасть, хоть убей их.

— Сейчас!.. Сейчас!.. — шептал Минарин, полный уверенного ожидания. Но быки только стеснились, образовав одно многоголовое туловище.

И вдруг одна молоденькая коза напряженно взвилась вверх и прыгнула на плиту, на тот самый стол Эрлика.

Минарин крикнул от неожиданности.

— Ой!... Сейчас!...

Но коза, видимо очень довольная тем, что ее тут не беспокоят удары палками и угрозы, замерла в гордой стройности.

Несколько мгновений Минарин стоял недвижимо, сливаясь с камнем. Потом он почувствовал: точно отор-

валось у него что-то внутри, оторвалось тяжелое, упало и растаяло тут же. И на душе стало тягуче и неповоротливо, точно там застывающая смола. Кривые ноги его подкосились.



Он опустился, опираясь спиной о камень. Мысли совершенно оставили его, но он не лишился сознания. Он видел, слышал, но он не отдавал отчета в том, что видит и слышит.

— Совсем, совсем заткнул уши милостивый Уйч-Курбустан — шептал он, не понимая своих слов.

IV.

В зачарованном кругу.

И опять ушел кам Минарин в горы и пробыл там два дня. Были пусты и бездумные те два дня, похожие на провалы между скалами: даже мысли об Эрлихе не шевелились в голове кама. Почти без пищи и все же без усталости, несмотря на кривые ноги, бродил он в горах. Чувствуя себя каким-то неестественно легким, выбирал такие узкие тропы, что любой джейбран

позавидовал бы ему. Кам спокойно и легко прыгал с камня на уступ, и если скользила нога и на мгновение свисала в пропасть, то и тогда не падало в шемющем страхе сердце кама. Точно непоколебимую веру в бессмертье приобрел кам.

Было в его опасном скитании что-то правильное. Какое-то устремление помимо воли кама, независимо от его намерений, направляло его путь, образовывая огромный, замкнутый круг, с одной и той же центральной точкой. Уже несколько раз уходил Минарин от приметного острореброго в глубоких трещинах камня и



снова возвращался к нему, но уже с противоположной стороны.

В эти два дня кам Минарин только однажды забылся. Но и во сне, не чувствуя телесной тяжести, носился он все по тому же кругу и та же точка была его устремлением.

Голодный и обессиленный понял наконец кам смысл своего круга и отыскал точку. А поняв — он целый час стоял недвижимо и смотрел на вершину скалы, на окровавленную каменную плиту, на жилище Эрлиха.

И тогда возникло решение укама. Возникло как-будто внезапно, но на самом деле в итоге огромных, но смутных душевных сдвигов. Возникнув, окрепло сразу же и сразу же деликом завладело помыслами и действиями кама.

Пришло это решение днем, в самый зной, когда небо побелело, стало горячим, сухим и зловедшим. Трава на склонах сникла, стала неживой; не упругил и не хрустел под ногами стебель.

— Будет гроза сегодня — не то подумал, не то проговорил кам и вдруг неожиданно для самого себя запел старую и горькую песню:

«Лучше бы умереть мне,
Чем видеть тебя разоренным
Наш милый край Алтай.

Пел и уж не знал теперь Минарин о чем тоскует его душа. И уж не было в этот миг в душе его ни капельки сожаленья о том, что заткнул свои уши Уйч-Курбустан и отвернул лицо свое. И пел, и тосковал кам машинально и подсознательно.

Так с песней спустился кам в горы и второй раз в жизни проник в ущелье, к подножью жилища Эрлиха.

V.

Гроза.

Угрюмый пастух Сарамык уже давно заметил странное кружение кама. Однажды он сверху увидел, как Минарин на животе переползал по узкому выступу на другой край пропасти. Он соскользнул и повис над бездной. Сарамык даже ахнул. Но кам очень неторопливо и ловко вкарабкался снова на уступ и пере-

брался на противоположную сторону провала. Это так приковало внимание Сарамыка, что он стал следить за движением кама.

Когда кам спустился в ущелье к подножью рябой скалы, Сарамык последовал за ним, желая разгадать, наконец, замысел кама. Он и не думал, что действия кама не были подчинены его сознанию. Хотя Сарамык уже давно заметил, что движения кама были похожи на движения его умершего сына, который всякую ночь, когда сильно светила луна, вставал и тихо бродил по скалам, вытянув вперед руки, как делают слепые.

Идя по ущелью вслед за камом, Сарамык на каждом шагу спотыкался о кости. Один раз он наступил на огромный череп и тот, истлевший от времени, хрустнул. Минарин услышала и быстро оглянулся, но Сарамык успел скрыться за выступ.

— Обжора!... Хрипун!... Ты опять грызешь кости — услышал Сарамык слабый голос кама. И в этот миг Сарамык вспомнил, что русские, приехавшие с машинкой, которую они называли непонятным словом «Киноглаз», объясняли им, что в глубокую старину, когда целые стада диких коз и сарамыков бродили по горам, алтайцы охотники с огнем и стрелами, с дикими криками, загоняли эти стада на вершину скалы и животные, обезумевшие от страха, прыгали в пропасть и, разбиваясь, становились пищей людей.

Такая благодать была в те дни, что люди, сойдя в это ущелье, отрезали и, уносили с собой только лучшие куски животных.

— Обжора!... Хрипун!... Тьфу!... Тьфу!... — услышал опять Сарамык голос кама и, выглянув, увидал, что кам озлобленно плюет вверх и грозит скале.

Пастух едва успел спрятаться: кам повернулся к выходу и быстро прошел мимо Сарамыка. Пастух подождал, когда в гулком ущелье замерз звук его шагов, и тоже пошел к выходу.

Совершенно неожиданно у себя в алапчике он нашел кама. Минарин сидел неподвижно, казалось, в глубоком раздумье.

— Сарамык — сказал ему кам, — Сарамык, ты совсем, совсем забыл светлого Ульгения — и опять задумался.

— Мне не надо Ульгения... совсем не надо — просто, но глубоко искренно ответил Сарамык. И ответа его кам вовсе не слышал: так он был занят своими размышлениями.

Взор его скользил по аланчику, точно он отыскивал что-то и забыл, что именно. Иногда он на мгновение задерживался на капканах, во множестве висевших над его головой, и снова скользил мимо, розыскивая. Наконец взор его остановился на бараньих кишках, налитых салом и похожих на колбасу. Они целой связкой висели у самой крыши аланчика. Минарин, не спуская с них взгляда, снова заговорил:

— Сарамык, вот у тебя сало есть, хлеб есть, ты пасешь скот и ты доволен, а у меня ничего нет. Сарамык, никого нет у старого Минарина. Все... все удушил черный Хрипун-обжора. Ты пасешь скот, Сарамык... как хорошо пасти скот... Сарамык!

Сарамык слушал монотонную неживую речь кама и, проникаясь состраданьем, достал и подал ему хлеба и сала. Минарин машинально принял, надкусил хлеб, но не стал есть. Минуту он сидел в окаменелой неподвижности. Потом внезапно встал и быстро вышел из аланчика.

Оставшись наедине, Сарамык первое решил не думать о старом каме. Но его загадочное поведение и разговор, похожий на бред, тревожили пастуха. Вскоре думы о Минарине стали столь неотвязными, что Сарамыку показалось тесно и душно в аланчике. Он вышел. Уже вечерело. Было очень душно и безветренно.

Из-за гор через все небо тянулись мутные полосы облаков. Изредка налетал едва ощутимый прохладный ветерок, налетал на одно мгновение, внезапно, точно украдкой. Скот сбился в плотную кучу у скалы, торчавшей навесом. Короткие с обвислым брюхом быки тяжело дышали и то и дело поглядывали по сторонам. В темно-лиловом взгляде их Сарамык заметил

смутное чувство тревоги и беспокойства. — Будет гроза — сказал он и стал внимательно осматривать небо и горы.

Громоздившиеся скалы чередовались с провалами с причудливыми хребтами, с голубыми полосами снеговых вершин. И весь этот каменный хаос медленно погружался в душную темноту. Только вершина той скалы, где жил Эрлих, попрежнему отливала фиалково-красным отблеском.

Всматриваясь, Сарамык внезапно разглядел, что по отлогому подъему, где они не так давно гнали скот для «кино», к самой вершине медленно поднимается человек. Он нес с собой огромный, овальной формы предмет, а одет был в длинной ячи и в шапке с перьями. За плечами он нес какую-то связку.

— Зачем кам полез туда? — спросил себя Сарамык.

Минарин поднимался страшно медленно. Когда он прошел половину подъема, стало уж так темно, что он виднелся черным силуэтом на фоне неба.

А потом точно растаял медленно в темноте.

Вскоре Сарамык увидел, как на самой верхушке скалы, около каменной плиты, на которой теперь уж погасли багровые отливы, вспыхнул и замигал, как далекая красная звездочка, робкий огонек и белая струйка дыма поплыла вверх. Сарамык смотрел туда, не отрываясь. Внезапно от костра к нему долетел гулкий звук бубна... потом другой... третий. Сарамык напряженно вслушивался. Вскоре удары бубна участились, стали непрерывными. Одновременно они сопровождались какими-то едва уловимыми звуками, похожими на звон колокольцев вдали и на мычанье заблудившегося телочка. Звуки лились, то утихая слегка, то возрастая снова и снова.

Костер, слегка колеблясь, горел непрерывно ровным красным огнем. Точно пламя вырывалось прямо из скалы.

Внезапно звуки бубна замолкли и Сарамык в затишье услышал необычайно звонкий, не свойственный старому каму голос, почти крик:

— Хрипун!... Обжора!... Выходи... Выходи... Хрипун... Хрипун...

И снова гукнул бубен... Гукнул, зачастил, точно забился в какой-то гуккой, звенящей судороге. И на этот раз Сарамык внятно расслышал иступленное, нечеловеческое мычанье кама:

— Буээ...

Вдруг за спиной Сарамыка, заглушая гуканье бубна, тяжело и грозно загредел гром. Удар раскололся о каменные вершины гор и протяжным эхо потонул в пропастях и обрывах. Пастух оглянулся. Тяжелая свинцовая туча нависла над горами. Где-то в ущелье огромной дудкой загудел ветер и смолк. И опять гулко загудел бубен кама: путаясь в его бормотаньи, как в длинной шубе. И опять Сарамык услышал окаинный возглас, похожий на вопль: Хрипун!... Хрипун!...

Налетел ветер. Далекий огонек кама беззащитно заметался на скале.

Недалеко от пастуха тихо, испуганно замычала корова.

Внезапно ослепительным, чуть зеленоватым пламенем вспыхнули горы. На одно мгновение Сарамык увидел огненную щель, сквозь черное облако мелькнувшую вниз, на вершину горы, и в тот же миг там вымахнул огромный огненный шар.

Было несколько секунд мертвого затишья, в котором необычайно громко слышалось сумасшедшее гуканье бубна. Потом... Сарамык слышал, как гремит, разрываясь, снаряд или бомба. Но если бы все ящики снарядов и бомб, которые видел Сарамык, разорвались сразу, то и тот грохот казался бы хлопучкой в сравнении с ударом грома, грохнувшим вслед за мгновением затишья. Точно и небо, и земля сразу разорвались вдребезги.

И опять затишье... Снова гуканье бубна у далекого костра и вопли:

— Выходи... Обжора... Хрипун...

Сарамык послушал еще несколько минут гуканье бубна, бормотанье кама и его иступленные крики. Нового удара грома все еще не было. Потянуло влажной прохладой. Точно где-то рядом, прямо над головой Сарамыка висело целое море. Сарамык запрокинул голову, ожидая, что сейчас

ему в лицо упадет крупная капля дождя, потом другая, третья.

— Хорошо... Хорошо... — шептал он, ожидая капли и не слыша уж гуканья бубна. — Так давно не было дождя... Хорошо.

В это мгновение он снова услышал тревожные звуки бубна. Сарамык улыбнулся.

— Вот стучит... Вот стучит... Совсем, совсем чудак как Минарин, зачем стучит? — проговорил он, не опуская лица, и помолчав добавил: — Хорошо.

Вдруг снова вспыхнули горы и тут же грохнул оглушительно трескучий удар грома. И вслед за ним не одна капля, а целый ливень хлынул в лицо Сарамыку.

— Ой, — испуганный неожиданно сильно вскрикнул он, и уж опомнясь, фыркнул — Уф... уф... И быстро юркнул в аланчик.

А из аланчика уж смутно, уж едва слышно сквозь шум проливного дождя Сарамык услышал гуканье бубна, то и дело заглушавшееся громом.

Сарамык долго слушал грозу, шум то стихающего, то усиливающегося дождя и немелое, задебывающееся гуканье бубна.

Близко к полночи на несколько минут замолкла гроза и перестал дождь. И Сарамык услышал все тот же иступленный, но уже охрипший вопль кама Минарина.

— Обжора... Хрипун... Хрипун...

Потом опять ударила гроза и громко по крыше аланчика застучали крупные капли.

— Чудак, чудак, совсем чудак старый Минарин... Чего стучит?... Зачем стучит? — проговорил засыпая Сарамык.

Утром Сарамык проснулся поздно и в дымовое отверстие аланчика увидел яркий радостный свет. Он неподвижно уставился туда взором, вспоминая вчерашнее. Он вспомнил грозу, ливень, кама, его страшные вопли: «выходи... хрипун»...

Сарамык прислушался, точно ожидая, что бубен снова вот-вот гукнет. Но все было тихо. Лишь изредка доносилась тяжелая поступь скота, с треском срывающего сочную траву.

— Где же кам?... Совсем чуждак старый. Его наверно совсем размыло дождем, — подумал Сарамык и снова сомкнул глаза. И, кажется, даже вздремнул, нежась еще немного...

— Сарамык, — вдруг окликнули его. — Проснись, Сарамык.

Сарамык открыл глаза и сразу поднялся на своем логове.

Перед ним стоял Минарин. Лицо у него желтое, как старые кости в ущелье. Глаза мутные и тоже желтые. Он держал в руке свою тяжелую ячи, насквозь промокшую, похожую на шкуру падали.

— Сарамык, — назвал опять кам, не глядя на пастуха, — совсем нет никого у старого Минарина. Совсем, совсем, — и он, бросив ячи, опустился и сел.

— А бубен где у тебя? — спросил Сарамык.

— Там бубен. Не надо мне больше бубен. В проласть бросил, все бросил... шапку бро-



сил. Совсем никого нет, Сарамык... Оба молчали. Сарамык встал молча, подал каму хлеб и сало. Минарин, глядя в невидимую точку на полу, медленно ел, погруженный в свои думы.

Внезапно он перестал жевать и быстро вскинул взгляд на пастуха. Сарамык удивился, как вдруг, точно у молодого, появились глаза старого кама.

— Сарамык, — тихо, но взволнованно заговорил кам. — Сарамык, ты видел, как восходит солнышко в горах, когда заря горит, как огонь и кровь и когда скалы тоже горят и лес блестит и все блестит, а небо голубое... Какое голубое небо, Сарамык. Ты никогда не видел такого неба, Сарамык? Ай, Сарамык. Ты угрюмый, ты не увидишь, как горит заря... Ай, Сарамык! — восторженно заключил он, под-

няв лицо и вглядываясь повлажневшими глазами в дымовое отверстие, где ярким шаром горел золотисто-голубой свет. Точно он был слепой, внезапно прозревший.

— Ты ешь... ешь, Минарин! — напомнил ему Сарамык, совсем не понявший той великой радости, которую испытывал в этот миг старый алтаец.

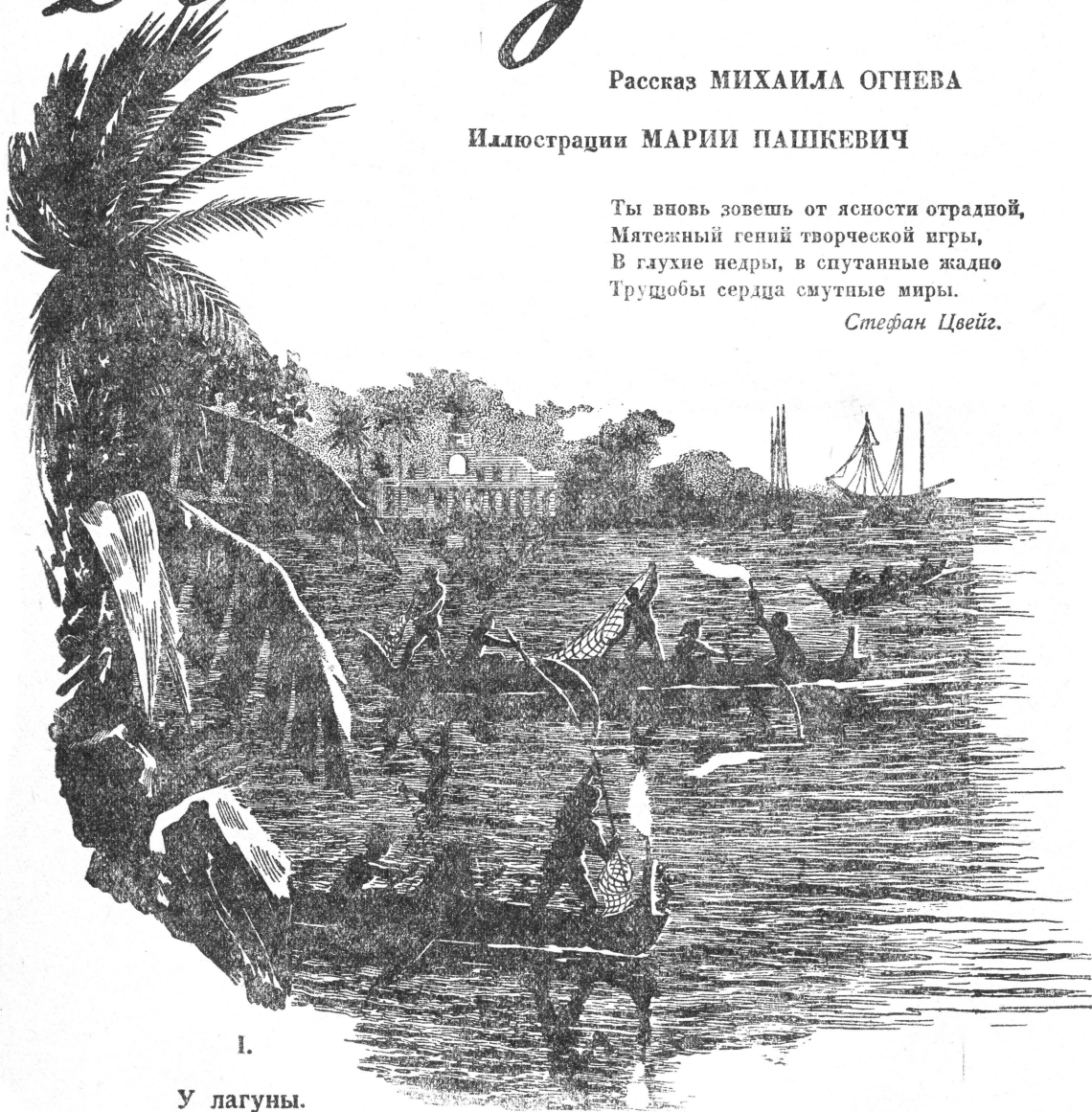
Лесгутте

Рассказ МИХАИЛА ОГНЕВА

Иллюстрации МАРИИ ПАШКЕВИЧ

Ты вновь зовешь от ясности отрадной,
Мятежный гений творческой игры,
В глухие недры, в спутанные жадно
Трущобы сердца смутные миры.

Стефан Цвейг.



I.

У лагуны.

— Я никогда не видел такого множества палоло ¹,—задумчиво ска-

¹ Палоло—туземное название кольчатого морского червя. Размножение этого червя, по невыясненным еще наукой обстоятельствам, связано с лунными фазами. Ежегодно в период весны южного полушария, один раз в октябре и другой раз в ноябре,— море у островов Фиджи и Самоа кишмя кишит этими существами. Это бывает в последнюю четверть лунных фаз. День

ловли палоло—один из торжественнейших дней для туземцев. Он привлекает всех туземцев от мала до велика. Одетые по праздничному, украшенные цветами, выезжают они в море на своих легких пирогах. Крики, пение и несложная симфония музыкальных инструментов—выражают их радость. Полчаса, час,—время вполне достаточное для наполнения лодок. Палоло вычерпывается из воды чем понало: ковшами, ведрами или корзинами. Небольшая часть добычи поедается тут же сырьем, а оставшаяся заготавливается впрок.

зал Генри Дрэн, возясь с изгрызенной трубкой.—И откуда его взялась такая пропасть в этом году? Вся лагуна так и трепещет от длинных скользких тел!.. Будто одно громадное живое существо... Сунешь весло в воду, а под ним что-то извивается, вздрагивает, и лодка едва ползет, словно застревает в чем-то...

Медленным движением поднес он трубку ко рту и, не меняя безразличного выражения на лице, погрузился в молчание. Все окружающее также молчало вместе с ним. Молчал и Стрели Джервиль, его случайный собеседник.

Огромная лагуна лежала под ними, безмолвная и неподвижная, теряясь вдаль, в беспредельном просторе Тихого океана. Огненно-красный диск солнца медленно тонул в безбрежных водах. И красноватые блики заката, темнея, словно зловещие отсветы далекого пожарища, ложились на все окружающее. Будто окровавленные руки чудовищ тянулись кое-где у скал озаренные красным светом ветви пальм. Иногда, вместе с легкой рябью в синевато-пурпурной воде, набегал легкий ветерок, и тогда гибкие ветви трепетали и вздрагивали, а бесконечно-длинные тени их отзывались на этот трепет бешеной пляской. Где-то вдаль рубином сверкали стекла двух-трех бунгало¹. В черной гуще банановых и кокосовых плантаций на западе, у новенького словно воз-

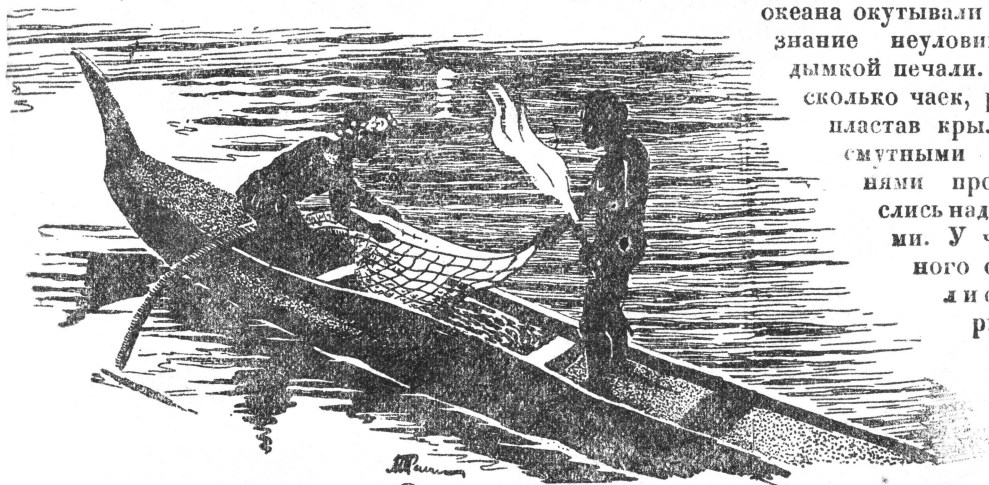
душного здания миссионерской резиденции, пугливо, будто угасая, мерцал крест маленькой церкви. На флагштоке губернаторского дома, полускрытого густой зеленью пальм, чуть-чуть вздрагивал американский флаг.

Длинной цепью выползали откуда-то из глубины вод источенные, осклизлые ряды рифов. Океан вел с ними бесконечную борьбу, и даже в штиль жемчужной розовой пеной клубилась вода у их подножья. Там, где рифы, мельчая и теряя свой хищный оскал, уступали место спокойной воде бухты, белели паруса двух-трех рыбацких шхун и поблескивали иллюминаторы буксирного пароходика. Несколько барж присадисто выстроились у берега. А в стороне от дамбы рядом маячили выкрашенные в серое шлюпки и моторные лодки.

Быстро, почти мгновенно, теряли тени свои резкие очертания. Край солнца сверкнул в последний раз и спрятался в сразу насупившихся водах. Ветви пальм вздрогнули и застыли. Сияющие блики в стеклах бунгало погасли. Смутные очертания белоснежных вилл среди зелени плантаций растаяли. Розоватое небо настороженно повисло над черной иззубренной линией горизонта. В застывших, зачарованных водах, впереди, быстро меркли следы недавнего пожарища.

Они сидели молча, усыпленные тихим, однообразным плеском лагуны. Закат и вечный, как мир, ритм океана окутывали сознание неуловимой дымкой печали. Несколько чаек, распахав крылья, смутными тенями пронеслись над ними. У черного обескарифа

¹ Бунгало — дом, хижина.



взметнулся каскад брызг, вода бешено забурлила, и темная пасть акулы на мгновение вырвалась из водяной толщи. Лицо Драна на минуту оживилось, но трубка вспыхнула, и клуб дыма скрыл его от Джервиля. А когда завеса рассеялась, лицо Драна было так же равнодушно, как и раньше.

Розовые краски и светлые тона уступали место бесцветному, однообразному сумраку. Предвечернее марево, темнея, отступало перед мраком, выползавшим из океана. Две-три звездочки из бесконечности бросили в лагуну свои отражения. Вселенная, непознанная и загадочная, из неохватных глубин глянула сверху.

Долго плел над ними мрак свои незримые сети, и слова их мягко таяли в теплой тьме. Ночь гналась за ускользнувшим солнцем и уносила звездную пыль в своем быстром потоке. В тихой беседе, окутанной ньянющим обаянием ночи, незаметно проходили час за часом.

И вдруг на востоке забрежжил белый свет и бледным искрившимся разливом поплыл по океану. Стрельчатые ветви пальм выглянули из сумрака. Длинная гряда рифов четко застыла на фоне посеребренного кружева пены. Луна всплывала бледной лучезарной ладьею над волнами мрака.

Длинные прямые лучи бесшумно струились от узкого желтоватого серпа. Мерцающий океан слил вдали свои просторы с небом, белесым и тусклым. Вдоль берега, на фоне сгустившейся под скалами тьмы, затрепетали желтоватые блики. В беспредельных волнах тусклого света тонула земля, вода и небо.

— Хорошую ночьку выбрали для палоло!..

Джервиль глянул в ту сторону, куда кивком головы указал Дрэн. Три длинных и легких туземных каноэ гуськом скользили по серебрящейся поверхности. Три пары весел разом взлетали в воздухе и дружно опускались в воду. Сверкающие капли стекали с весел в сверкающее лоно; длинная светлая полоска, переливаясь жидким серебром, тянулась за самой задней каноэ. Полубогаженные смуг-

лые тела то склонялись вперед, то напряженно, сильным толчком выгибались назад.

— Чтоб мне провалиться сквозь землю, если их лодки через четверть часа не будут полны! — снова тихо произнес Дрэн, расставшись, наконец, со своей трубкой.

Глаза его не отрывались от каноэ, и Джервилю показалось, что в них затеплился огонек оживления.

— Здорово работают! — не удержался Дрэн и улыбнулся. Улыбка скользнула по лицу как-то робко и сразу затерялась где-то в глубоких желтых морщинах. — Это вождь Канума из Ваилимо со своими подвластными. Славные ребята!..

Передняя каноэ, обогнув ближайший к ним риф, прошла внизу под ними. Два гибких тела, исчерченные татуировкой, бросив весла, словно два автомата, вскочили на ноги. Джервиль увидел сверкающие глаза, ослепительно-белые зубы, выкрашенные ярко-красной краской концы волос. С плеч двумя змеями ниспадали толстые жгуты из пурпурных цветов гибиска, борта лодок окаймляли гирлянды таких же красных цветов попеременно с желтыми цветами маилилима. Лунное сияние и мягкая голубизна лагуны придавали всей картине феерический оттенок. Казалось, эта каноэ, расдвоенная пышными цветами, и эти две восторженные фигуры лишь призрак, который сейчас растает в тишине и мерцании лунного вечера.

— Талофа ли ¹! — два приветствия слились в один гортанный протяжный выкрик.

— Талофа, — негромко бросил Дрэн, слегка качнув головою.

Взметнулись две красных змей, и два тела, присев, снова разом окунули весла. Расплавленное золото густыми каплями заструилось в трепещущую лагуну. Три каноэ одна за одной окунулись в тень рифа и скоро исчезли туманным призраком за ближайшим мысом.

Луна потоками разливала белесое сияние в лагуне, и та щедро возвра-

¹ Здравствуй!

щала ей блеск и трепет неосязаемого золота. Откуда-то издали понеслись тихие скользящие звуки радостного пения. Зазвенела, заволновалась укулелэ¹, закричала смеющимся криком, а потом, стихая, утомленно, успокоенно, зажурчала тихо-тихо, едва слышно. Гармонируя друг с другом, струился белый свет, струилась светло-голубая вода внизу, и эти торжественные звуки—первобытный гимн радости—струились между скалами.

— Не хочется покидать эту прелесть... И все же... Завтра пароход отойдет на Паго-Паго. Потом Хило, Гонолулу, долгое плавание в океане и, наконец, Сан-Франциско. Знаете, мистер Дрэн, острова Южных Морей не скоро забудутся. Чудесное, сказочное место!

Дрэн качнул головою, но Джервиль понял, что смысл его слов не дошел до сознания его собеседника. Он сидел, низко склонив голову, и взор его остановился на полосе неподвижной воды под скалою. Расплывчатые отражения палм и выступов скалистого берега мешались в странном хаосе с тонкими светлыми пятнами. Легкая рябь временами слегка искажала и путала очертания. Как-то-то воспоминания и образы овладели мыслью Дрэна. Едва уловимая дрожь иногда пробегала в морщинах его лица, опущенная рука машинально постукивала закопченной трубкой о камень берега.

— Селеста... да?.. ты!.. Снова со мною... Нет, нет, это невозможно. Лагуна обманула тебя, убила... Мы гребли изо всех сил... Да... я и Тамута... Сердца наши готовы были разорваться от напряжения... Паоло Миллионэзи... Ах, он виноват!.. Селеста... Ко мне... скорее!.. скорей.

Он шептал эти слова, едва шевеля губами, и все больше и больше наклонялся над водой, вглядываясь в колышавшиеся арабески отражений. Было неприятно смотреть на этого человека, грезившего наяву, увлеченного образами какого-то скрытого, одному ему доступного мира. Джервиль казалось, что тело Дрэна, на-

клоненное вниз, вот-вот сорвется и рухнет в воду. Он осторожно притронулся к его плечу.

— Что с вами, мистер Дрэн?

Он посмотрел на Джервиль пустым взором и вдруг улынулся. Печальная улыбка придавала темному иссохшему лицу жалкое, даже трагическое выражение. Потом он стыдливо опустил голову и заерзал руками, набивая трубку. Прежняя бесстрастность постепенно возвращалась к нему.

— Селеста погибла в день ловли палоло,—сказал он, наконец.

— Селеста?.. Откуда здесь такое имя? Кто была эта Селеста?

— Селеста—моя жена. Ее отец—француз. Вы знаете этого старика Жюля...

— Знаю? Разве?.. Нет... Впрочем, не тот ли это беспробудный пьяница, который вчера валялся под стойкой бара гостиницы «Метрополь»?

— Он самый... Старик Жюль пьет запоем... А ведь представьте, около двадцати лет не пил ни капли. На туземных празднествах и то, бывало, один глоток кавы¹ выпьет... не больше... А после ее смерти снова запил. Да как!..

Он старательно запыхтел трубкой. Сквозь серую завесу Джервиль вдруг заметил, что глаза его наполнились влагой, и маленькая слезинка заискрилась на жесткой щеке. Он снова глядел напряженно в воду. И когда Джервиль заговорил с ним, он не услышал. Он опять шептал что-то, но так тихо, что Джервиль не мог разоб-
раться его слов. Джервиль притронулся к его плечу. Он не повернул лица в его сторону.

— Давно умерла Селеста?

Пустые невидящие глаза остановились на нем.

— Ах, вы о ней!.. Пять лет назад. Тогда был большой улов палоло. Вся лагуна была запружена... Вода была густа, как кисель. Однако, в этом году больше...

Он вдруг схватил Джервиль за руку и, отбросив в сторону дымящуюся трубку, закричал:

¹ Полинезийская гитара.

¹ Кава — туземный опьяняющий напиток.

— Но скажите мне, почему она убила себя? Почему? Неужели для нее обманчивый мираж дороже был жизни и моей любви? Ведь, я любил ее!.. И сейчас люблю, клянусь вам!.. Я не могу без нее жить, не могу!..

Он застонал и закрыл лицо руками. Тело его сгорбилось и беспомощно вздрагивало. Во всей жалкой фигуре, в морщинистом, увядшем лице была такая глубокая тоска и невыплаканная печаль, что Джервилю сделалось на минуту жутко; он почувствовал себя жалким и беспомощным перед лицом этого безысходного горя. Где-то вдали угасали звуки укулелэ. С ближайшей плантации доносилось дребезжание вечернего гонга. Пьяные голоса кули на минуту вторглись в гармонию лунного вечера. Но все эти звуки, нагло всколыхнувшись тишь и завороченность осиянной природы, быстро растворились в перевозданном покое. Казалось, грубая сила занесла их из неведомого мира, но, оробев перед безмолвием и недвижностью всего сущего, унесла в бесконечность.

— Если бы вы только знали Селесту! Это была женщина!..

Он снова был спокоен, этот старый, иссохший англичанин, нашедший себе родину на островах Южных Морей. Под этой жесткой маской загорелой морщинистой кожи, поросшей седеющей щетиной, скрываются свои жгучие чувства и страсти. В бесцветных глазах, выжженных горячим солнцем, таких равнодушно холодных, все же загораются иногда безумные порывы прошлого.

Он — один из богатейших плантаторов. Он — тонкий коммерсант и спокойный, рассудительный делец. Толпы грязных кули всегда привыкли видеть его одинаково невозмутимым. Одинаково ровным голосом беседует он с десятками торговцев, закупающих у него какао и копру, с капитанами зафрахтованных судов, с матросами... Но страшную драму носит он в глубоком тайнике души, и медленно сущит она его тело. Дважды в год, когда в лунном сиянии зашевелится в лагуне палоло, жгучая тоска зашемит в его сердце и всколыхнет

прошлое. Незажившая рана сильно кровоточит в эти дни. Если длинной цепью пронесутся в белом свете каноя, и украшенные цветами канаки, с ярко-красным лава-лава на бедрах, запоют свои первобытные песни, — прорвется что-то в душе плантатора. Мутные глаза заблестят влагой и по сухим, покоробленным щекам поползут слезинки. В эти дни до глубокой ночи сидит он на скале и смотрят в лагуну. Смотрит долго, пока среди теней в воде не увидит ее... Она является ему из голубой глубины в белом свете луны, подходящей к своей последней четверти. Беззвучно шевелятся губы Дрэна... А когда зажурчит вдали укулелэ, не выдержит Дрэн... Мучительное рыдание вырвется из застывших волн белого света и понесется навстречу поющей укулелэ.

Поздно ночью на другой день Джервиль сидел в шезлонге на палубе «Калифорнии». Влажный ветерок обвевал лицо. За бортом однообразно и глухо шумел океан. Из машинного отделения, вместе со струйкой знойного воздуха, вырывалась лихорадочная дрэжь трех дизелей. Из тьмы вверх в тьму вод струил свое сияние Южный Крест.

Залитая лунным светом голубая лагуна все еще стояла перед глазами Джервиля. В прохладных брызгах вспененного простора, в легком дуновении ветра, принесенного со сказочных островов, ему чудился мучительный шопот. Он видел скалы, нагроможденные рифов, ряды стрельчатых пальм, застывших под луною; видел желтое морщинистое лицо с усталыми глазами. Тихий голос все еще звучал в его ушах. ...В бездонной тьме, над пустынями океана, Джервилю грезились, словно живые, герои странной истории, рассказанной ему Дрэном.

II.

Рассказ Дрэна.

— Я ясно вижу синюю, корябуюся от слоя масла и грязи блузу, черное от копоти лицо. Несколько пенсов в кармане.. Кружка пеняще-

гося портера Басс в дымном кабачке Лийонса — по вечерам. Назойливый рокот Гайдпарка — в воскресные дни. Это — я, Генри Дрэн, рабочий в лондонских доках.

...Зияющее огнем отверстие топок... Бесконечное сгибание и разгибание спины... Толчок вперед, треск и шинение зачерневшей среди пламени груды угля... Ослепленные ярким светом глаза и сущащий, невыносимый жар... О, я хорошо помню этот густой пот, без конца струящийся по обнаженной груди черными струйками, и вечное чувство дьявольской жажды! На пароходе «Арктика», принадлежащем пароходству «Уайт Стар» и бороздящем океан между Плимутом и Фриско¹, я служил кочегаром более трех лет.

...Желтое лицо, изъеденное оспой, с одним глазом и громаднейшей косой, обвернутой вокруг шеи, затащило меня в свои лапы в каком-то баре на Калле Ривадавиа в Буэнос-Айресе. Сун-Чанг-Зо щедро поил меня джином и звенел в кармане пезетами. Он вербовал черных рабочих и снабжал ими плантации. На его быстрой джонке я впервые почувствовал прелесть свежего воздуха и ласку двадцатифутовых волн океана. Но, правда, пища, которой я питался на джонке, более подходила свиньям, чем людям, а много обещанных Сун-Чанг-Зо монет так и не вышли из его кармана.

Не знаю, куда исчез вдруг Сун-Чанг-Зо. Говорили, что он задушил себя собственной косой. Почему — не могу понять. Я видел его джонку в Крау-Вау. На ней торчала бритая голова другого китайца. Это был тучный и на редкость громадный человек, еле передвигавший ноги.

...Вы себе не представляете состояние ловца жемчуга после дня работы, я его сейчас снова начинаю испытывать... Шум в ушах, тяжелые перебои сердца, туман перед глазами и вечное жжение кожи. Это — адская, невыносимая работа! Поверьте мне... Я ловил жемчуг в Южных Морях, в Персидском заливе и у западных берегов Цейлона. Пила-рыба однажды расползла мне икру на левой ноге от колена

до пятки, громадный скат оглушил меня, и только негра Франклина, случившемуся в тот миг подле меня, я обязан теперешним своим существованием. Бесчисленное число раз спасался я от акул. Однажды в бухте Кондачи у меня хлынула из ушей и носа кровь, и с того дня мои руки больше никогда не прикасались к скользким острым раковинам.

Шатаюсь по улицам Занзибара, голодный, в грязных лохмотьях, потеряв последние остатки надежд, я не думал, что здесь судьба улыбнется мне. Я наткнулся на Фрэда Хэдлея, с которым вместе когда-то работал в доке. Он устроил меня матросом на «Веге». Через три года уже боцманом я перекочевал на «Рокфеллер», а еще через полгода Лин-Зо-Фе перетянул меня шкипером на свой неуклюжий ветхий кetch.

На Уполу, Савани и Манума мы набивали наш трюм копррой и медленно ползли с нею к Новой Зеландии. Так продолжалось до тех пор, пока однажды течь в прогнившем дне кetchа не дала себя чересчур сильно почувствовать. В ту пору я застрял в Апии, вместе с довольно приличной суммой денег.

Вы знаете этого надоедливового Гопкинсона, владельца отеля «Европа»? Ему я обязан своим знакомством с Жюлем Элио. Мистер Элио заходил в ресторан выпить содовой, и тут-то я с ним и разболтался. Этот горячий француз засыпал меня ворохом вопросов, шуток, коммерческих расчетов, сложных, но довольно шатких, проектов и, наконец, схватив за руку, потащил меня на свою плантацию. Так состоялось мое помазание на пост управляющего «Vive la France» — плантация Жюля Элио.

Историю мистера Элио мне рассказал Джонни Симпль, метр-д-отель гостиницы «Европа». Вы видели это грязное строение, которому больше подходило бы быть амбаром для хранения таро или ямса, чем гостиницей — жильем для приезжих иностранцев.

Жюль Франсуа Элио у себя на родине, во Франции, был когда-то обладателем довольно изрядного со-

¹ Сан-Франциско.

стояния. Если не ошибаюсь, он издавал какую-то газетку и имел завод косметических товаров. Но все это пошло прахом. Жюль унаследовал привычки не своего отца, а прадеда. Как тот, так и он слишком любили пожить на широкую ногу и слишком склонны были к пороку. В Париже его больше всего прельщала улица Шантал с ее закрытыми заведениями и домами свиданий. Странствуя по Англии, он прежде других мест посетил дебри Уайтчепеля и здесь нередко кутил в компании сомнительных оборванцев в черных кепи и с красным шарфом вокруг шеи. Он курил опиум в темных подвалах Чайнатоун в Нью-Йорке, и в грязных землянках, устланных рисовыми циновками, в Фу-Чеу-Род Шанхая. Он изведаль виски, гашиш-аль-фокаро¹, коко² и любовь черных и белых куртизанок, кажется, всех уголков света. В Голлулу, в низких закоптелых кабаках Ивелей, он в азарте игры в вист убил какого-то пьяницу-капитана. Два года он сидел в тюрьме в Новом Орлеане и около пяти лет — в Мельбурне. Наконец, фортуна занесла его на Савани в Матаату.

Долго о нем ничего не было известно, и далекие родственники его считали погибшим. Но вот судовой приказчик какой-то развалины, курсировавшей по рейсу Марсель-Тутуила, привез весть о том, что Жюль Элио — обладатель весьма доходной плантации в окрестностях Апии, с тремястами рабочих из Меланезии и Китая, видный торговец копррой и какао, живет в роскошном бунгало, выстроенном на европейский манер, вместе с женой — туземкой и дочерью — метиской. Многие долго не верили этому сообщению, но факты подтвердили его. Особенно удивляло всех, каким образом Жюль, дошедший до полной нищеты и падения, вдруг стал зажиточным человеком и приобщился к семейной жизни. В Париже прямо диву давались. Не знали этого и в Апии: сюда он явился нивесть откуда с боль-

шой суммой денег и сразу же пошел в гору. Все догадывались, что тут что-то нечисто, но эта сторона возрождения Жюля осталась все же для всех загадкой...

Все это рассказал мне о Жюле этот маленький и толстый, как ромовая бутылка, метр-д'отель Джонни Симпл, любитель в равной мере коктейля и виски.

...Вы были в моем бунгало, вы видели мою плантацию. Я знаю — «Эва» не ударит лицом в грязь перед тысячами других плантаций! Девять лет назад я купил у Отто Бауэра небольшой клочек земли с жалким, ветхим полутуземным бунгало. А теперь я увеличил прежнюю площадь раз в пятьдесят. Вместо дюжины тогдашних таитян у меня сейчас три сотни китайцев — кули. На будущий год я буду строить самый большой на всем Уполу склад для копры. А на этот сезон я зафрахтовал пятьдесят барж и четыре буксирных судна. Завтра одно отплывает под командою капитана Дженсона с полдюжиной барж на буксире..

Да, я богат!.. Но ее нет у меня.. И нет у меня цели в жизни, как нет у меня радостей и надежд! Семь лет назад старик Жюль вложил маленькую смуглую ручку своей дочери в мою большую, шершавую от мозолей..

Ее звали Селестой. Она была стройна и худа. Черные волосы развевались до самых колен. Она одевалась по-европейски в светло-розовое парео¹. На груди и в волосах ее всегда были пурпурные цветы гибиска. Она любила цветы и часто плела из них венки: красные, голубые, желтые. Она не знала Страха (она часто спрашивала меня: «Скажи, Генри, далеко живет Страх? Какой он из себя? Вот если бы мне его найти!..») и, когда я впервые попал в Анию и под хмельком шел вдоль берега, я увидел ее в лагуне. Она плескалась в воде и пела свои песни, а футах в двадцати от нее высывалась красная пасть акулы. Да, да, клянусь вам! Такая была Селеста.

.....

¹ Гашиш-аль-фокаро — «трава факиров», распространенное на Востоке название гашиша.

² Коко — название кокаина на жаргоне наркоманов.

¹ Парео — платье.

Я много видел необыкновенного на островах Южных Морей, и поэтому «Скала Чудес» не особенно привлекла мое внимание. Вы видите там, у самого мыса, узкий выступ берега, а напротив него остроконечную скалу? Это и есть «Скала Чудес».

Два или три раза был я на этом выступе. Скала вполне оправдывает название, данное ей туземцами: в воде под нею получают странные изображения... На вас смотрит чужое незнакомое лицо — ваше отражение. Оно окружено ярким радужным нимбом. Я как-то был там с моим управляющим Грэбом Вэнзом. Лицо мистера Вэнза и его отражение в голубоватой воде были совершенно различными лицами!

Еще девочкой Селеста любила сидеть на этом выступе, свесив вниз ноги и подолгу вглядываясь в воду. Став женщиной, она сохранила эту привычку, которая незаметно перешла в страсть. Бедняжка не знала зеркал (старик Жюль мало заботился о своей наружности и наружности окружающих его, а я, признаться, совсем забыл о существовании многих предметов, без которых немислимо бытие культурного человека), и вода лагуны заменяла ей их. Узенькой тропинкой шла она рано утром или при закате к каменистому выступу, всегда на одно и то же место, и здесь оставалась на много часов. Часто я звал ее издали и тогда видел маленькую фигурку, неожиданно выросшую у остроконечной скалы. Она медленно шла на мой зов и задумчиво, как бы

не узнавая, смотрела на меня. Я видел, что в глазах ее все еще мелькает яркое отражение, которым она так долго любовалась.

Селеста!... Любила ли ты когда-нибудь? Нет, я знаю, ты никого не любила! Ты любила лишь это странное радужное отражение в воде лагуны. Я видел, как загорались твои глаза, когда ты смотрела в светлую воду; как розовело твое смуглое лицо; как расширялись ноздри, и грудь начинала жадно вдыхать знойный воздух. Ты словно пьянела и в такие минуты не замечала меня. Ты жила лишь этим призрачным лицом, и это оно тебе грезилося, когда ночью ты вдруг тихо-тихо шептала: «Селеста»... Ты любила себя, только себя одну... Но ты любила себя такую, какою видела в воде, там, у «Скалы Чудес»!

Да, мистер Джервиль, Селеста жила обманом; туманный образ, окруженный радужным ореолом, был всем тем, что заполняло ее жизнь. Но я не до-

Селеста любовалась своим странным прекрасным изображением в таинственном зеркале лагуны у «Скалы Чудес».



гадывался тогда об этом. Все это казалось мне пустяком, маленькой забавой невинного создания. Я прощал ей все странности, цenia ее такую, какою она была. Меня радовали ее пышные волосы, украшенные голубым или желтым венком; ее темные глаза, устремленные куда-то далеко-далеко. Я не беспокоил ее разговорами, когда она слишком долго молчала. Я не старался навязать ей своих взглядов и вкусов, когда в ней чересчур резко проглядывала дикарка.

— Генри, — спрашивала она меня часто, — Селеста красива?

Ее глаза ждали, жадно, настороженно ждали, и я говорил:

— Ну, да, Селеста красива, очень красива!

— Генри, ты не видел в Апии девушки красивее Селесты? Нет, нет, Генри?!

Она почти требовала утвердительного ответа, и опасливый огонек появлялся в загадочной темноте ее глаз.

— Нет, не видел, — подтверждал я, и она успокаивалась. ...Да, она любила себя, и любовь мою она ценила лишь потому, что эта любовь выделяла ее одну из числа многих. — Генри, я видела сон, — рассказывала она мне иной раз по вечерам, — мне снилась Селеста.. Такая красивая, красивее всех женщин во всем большом-большом мире! Я целовала ее... И мне было хорошо-хорошо!

Ей часто снились сны, и, странно, в этих снах ей являлась всегда она же сама. Нередко, предавшись грезам, она забывала все окружающее и, не взирая на мое присутствие, называла себя ласковыми словами, покрывала страстными поцелуями свои руки и руками нежно гладила лицо. Ее глаза в такие минуты были полузакрыты, и по неподвижному телу пробегала дрожь. Но после таких припадков она долго не говорила ни слова и на бледном — страшно бледном — лице ее не скоро появлялась улыбка. Она ходила словно тень, и в ней было что-то далекое от земли, от жизни...

Я понял, наконец, что то, что казалось мне пустой забавой, развлечением от скуки, было всем ее существом, непонятной и жуткой загадкой ее духа.

...Мистер Миллионэзи... Разве плохо вам было, мистер Миллионэзи, в вашей богатой, культурной стране, что вы так много лир истратили лишь для того, чтобы принести несчастье глупому англичанину, бросившему свою родину? Вы далеко сейчас, мистер Миллионэзи... вы спокойны... вы счастливы...

Мистер Миллионэзи однажды весною приехал ко мне на плантацию и, получив мое разрешение, расположился в моем бунгало. Он провел у меня неделю. Это был очень живой человек, то чересчур мрачный, то неумеренно веселый. Он ставил себя несравненно выше всех окружающих и поэтому о всех и вся отзывался с великодушным пренебрежением. Он любил говорить о чем попало, лишь бы болтать — и, встречая безразличие и молчание, еще более распалялся. Немало стараний приложил он, чтобы развлечь Селесту: шутил с ней и научил ее произносить две-три итальянские фразы. Много раз они бродили по берегу. Один раз вместе поехали к большому пруду в окрестностях Апии. Часто я видел на голове итальянца венок, сплетенный Селестой. Однажды я слышал, как он говорил ей, что не любит мрачных и молчаливых людей и советовал ей изменить свой характер. Селеста слушала его без возражений, но, несмотря на это, оставалась такою же, как была...

Что вы говорите, мистер Джервиль? Ах, я и забыл, что было дальше.. Одну минутку... только одну минутку... Вот... вот, уже вспоминаю... Да... да...

В тот день я только к закату вернулся с плантации. Усталый, обливаясь потом, вошел я в бунгало. Они сидели друг против друга у выхода на веранду. Что-то блестящее было в руках у Селесты. Я направился к ним. Селеста бросилась ко мне навстречу... Она схватила меня за руку... Лицо ее было бледно... Я увидел ужас в ее глазах...

— Генри... это — я?.. Это — Селеста?!... — Она показала мне на свое отражение в маленьком зеркальце. Миллионэзи улыбался:



— Она не верит мне, что это ее лицо... Она думает, что ее лицо—там, в лагуне, у «Скалы Чудес»... Вот странная!...

Я ничего не сказал... ни слова... Но она, видно, прочла ответ в моих глазах... А мне она верила!... Она зашаталась... Я поддерживал ее, но она оттолкнула меня и убежала в свою комнату... Она не плакала... Но когда я вошел к ней, она лежала на полу, ее тело дрожало, как будто от страшного холода... Я просил, умолял, плакал—она не слышала меня... Я оторвал ее лицо от грязной дыновки, смотрел ей в глаза... О, боже!... Ее трудно было узнать... Она изменилась, страшно изменилась... Ее взор скользил мимо меня... Она не видела меня!

...Под одною кровлей со мною жило странное молчаливое существо с блуждающим мутным взором... Это была тень прежней Селесты... Она страшно похудела, постарела: волосы поседели и морщины покрыли еще молодое лицо... Я с ужасом смотрел на ее увидание!... Но я верил... Я не мог не верить, что разум Селесты вернется и оживит полумертвое тело... Я верил... я надеялся... ждал...

О, боже, боже, как ясно я чувствую трепетание палоло!... Как радостно поет укулэ!... Какое яркое дунгари¹ на бедрах Тамуты!... Слу-

¹ Дунгари—штаны.

шайте, почему так одуряюще пахнут лотосы, лилии и цветы илан-илана на бортах быстроходной пироги?!

В тот праздничный день ловли палоло вождь людей из Латонга, после шумной луау², пригласил меня принять участие в яркой, торжественной процессии. Три дюжины пирог пронесли одна за одной мимо мыса. С криком опустили канаки свои корзины в воду... Я тоже опустил свою... И вдруг выпустил ее из рук... я увидел Селесту... .. Вы спросите у Тамуты, вскрикнул ли я, когда увидел ее на скале. Он скажет вам:

— Нет, масс³ Дрэн сидел тихо-тихо... И лицо у него было белее самой белой тапы⁴.

² Луау—пирушка.

³ Масс—господин.

⁴ Тапа—обработанный дуб бумажной шелковицы (*brunsonnetia papuifera*), из которой полинезийцы, путем искусной выделки, готовят прочную ткань.



В руках Селесты было зеркало...

..Как ярко светила луна! Как се-ребрилась лагуна!.. Это был послед-ный миг ее жизни. Она не могла пе-режить потерянного... Лагуна, обма-нув ее, звала к себе. Ее светлая фигура мелькнула вдоль скалы, и тихие воды побелели, запенясь, у того места, где упало ее тело.

Разве не гнулись весла под силь-ными руками Тамуты и Тугу-Тугу, разве не летела стрелой пирога, не взирая на острые рифы?!.. Но акула быстрее лодки... Удар сильного хво-ста едва не перевернул пирогу... Красные брызги градом посыпались на дно... Красные — от ее крови!..

О, Тамута, славный вождь!.. Он никогда не лжет. Спросите у него, плакал ли я, рвал ли на себе волосы, кричал ли и проклинал бога... Он скажет вам: «Масс Дрэн не плакал... Масс Дрэн сидел тихо-тихо... У него было пусто-пусто в глазах... Масс Дрэн не плакал... Это Тамута пла-кал... Тугу-Тугу плакал»... Да, у меня не было слез тогда на лице, слезы были где-то глубоко в душе... Они остались и сейчас. Ужасные слезы!.. Она была хороша собою, — почему же она отдала свою красоту аку-лам?.. Она любила небо, звезды, любила тишину леса и рокот океа-на — почему же она ушла от всего этого?.. Она была так добра!.. Она не обидела даже маленькой букашки... Почему же?.. Кто скажет мне, по-чему она истерзала мое сердце?!..

III.

Спустя годы.

— Он вам говорил, что она кра-сива?! — захохотал Миллионэзи, устре-мив на Джервиль маленькие бегаю-щие глазки. — Ну, извините, она была безобразна. Синьор Дрэн был безумно влюблен в нее — вот что! Он был слеп к ней. Для него она была Моной Лизой, но, клянусь, лю-бая дурнушка из Виченцы могла бы с ней посоперничать!

Джервиль наткнулся на Паоло Ми-ллионэзи в Венеции. Он занял 216 но-мер в гостинице «Альенца» в Санта Кроче. В № 217 его соседом оказал-ся Миллионэзи.

На плохом французском языке Джервиль представился ему и по-яснил, где и при каких обстоятель-ствах он впервые услышал его имя. Миллионэзи поморщился.

— Проклятые места — эти острова Южных Морей. Мне так расхвали-вали их. Я поехал в надежде отдох-нуть от сутолоки столичной жизни и насладиться экзотикой. И что же? — глушь, некультурность, грязь, москиты. Нет, синьор, больше меня не удастся обмануть! Во второй раз этот сказочный рай меня не увидит!..

Он размахивал руками; на мато-вом подвижном лице его отражалось отвращение; черные глазки то оста-навливались на Джервиле, то отпры-гивали в сторону. Джервиль пытался было возразить, но был оглушен многословием и бурной ажитацией своего нового знакомого. Впрочем, ему скоро удалось перевести разго-вор на другую тему. Он узнал, что Миллионэзи, исполняя обязанности коммивояжера, был в Милане, Ту-риче и Неаполе и что в Венецию он приехал на пять суток по пору-чению фирмы Карло Корнадо и К^о. У Понте-ди-Риальто они заняли ме-ста в гондоле, которая быстро по-несла их по темной, маслянистой воде Канале Гранде. Незаметно раз-говор их снова коснулся прошлого.

— Я до сих пор не пойму, чем объясняются эти странные отраже-ния под «Скалою Чудес», — в раздумьи произнес Джервиль. — Я часто думаю об этом.

— Да, меня тоже интересовал этот вопрос... — заговорил Миллионэзи, бе-гая глазами и переводя лицо с одного предмета на другой. Узкие губы при-плясывали, все ускоряя темп. Белки его глаз резко выделялись на синеве кожи под глазами. — Я нашел разъ-яснение у старикашки — оптика там, в Апии. Вы, наверно, помните часо-вую мастерскую Ганса Миллера — маленькое присадистое здание непо-далеку от Английского Клуба? Я за-шел к нему как-то с испорченными часами. Он съежился, взобрался на окно, скривил физиономию над лу-пой и быстро закивал лысиной: Гут,

гут! — Я болтал с ним больше часа. Он был словоохотлив и поведал мне множество местных сплетен. Не помню уже по какому случаю, разговор зашел о странных отражениях в воде лагуны. Он положил лупу, опустил скулу и насмешливо улыбнулся: — Да ведь это так просто! — При этом он засмеялся дребезжащим смешком, поражаясь моему невежеству. — Две скалы, — разъяснял он мне, — своими гладкими стенами образуют пару плоских зеркал. А внизу, в воде, у самой поверхности, лежит громадная шарообразная глыба базальта. Она великолепно отражает лучи и играет роль сферического зеркала с большим радиусом кривизны. Рассеяние отраженных лучей, при выходе их из воды, дает радужный ореол. Вот и вся штука!..

И в доказательство безошибочности своего взгляда, он вынул из шкафа круглый блестящий предмет на подставке и тут же продемонстрировал его мне. Да, он был прав, тысячу раз прав, этот полунитный часовщик.

Они шли по Пьяцетте. Кровавый луч заходящего солнца играл на их лицах. После недолгого молчания, Милонэзи заговорил снова:

— Это была редкая причуда природы. Не правда ли, синьор Джервиль, хитрая штука эта природа! Естественная система зеркал вызывала дикие суеверия и целые легенды в среде тамошних дикарей, пораженных необычайностью, оригинальной искаженностью своих изображений.

Он устремил глаза на Джервиля и тихо, конфиденциальным тоном добавил:

— Но ведь, сказав безобразие, можно иногда получить красивое. Да-а... Вы согласны, синьор? Отра-

жение Селесты в лагуне было прекрасно. Я видел его. О, Мадонна, оно было необыкновенно, божественно, окруженное светлым радужным ореолом!..

Красноватый луч уходящего солнца снова прорвался между громадами зданий. Веселым равнодушием скользнул он по лицу Милонэзи и глубоким раздумьем застыл на лице Джервиля.

— Красота и безобразие, — думал Джервиль. — Как трудно их разграничить! Как мало мы понимаем сущность того, чему отводим так много места!.. А природа не знает ни красоты, ни безобразия. Она знает лишь сочетание форм и красок. И это сочетание так непрочное, так легко меняется. Красивое становится безобразным, а безобразное вдруг поражит красотой. И что истинное — мы не знаем...

IV.

Безысходное горе.

В те дни, когда затрепещет в лагуне палоло, одинокая фигура появляется на скалистом берегу.

Совсем уже седой и согбенный человек подолгу следит за игрою светотени в водной лазури.

Бессильно и недоуменно шелестит вопрошающий шопот в тяжелых ветвях пальм.

— Селеста?

... И луна беззвучно смотрит на него своим немигающим оком и тихую печаль бледных лучей влетает в тоскующий шопот:

— Селеста!..

... А когда звенящим криком вырвется радость из бесплотной груди укулаэла, — неутешным рыданием отзовется на него душа человека...

„НАРЦИЗМ“

НАУЧНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ ПРОФ. В. М. НАРБУТА К РАССКАЗУ
„ЛАГУНА“

Очень красивый и вдумчивый рассказ М. Огнева интересен в двух направлениях: с одной стороны здесь описывается странная, но вполне возможная игра природы: две скалы своими гладкими стенами образуют пару плоских зеркал, а внизу, в воде у самой поверхности, лежит громадная шарообразная глыба базальта, которая отражает лучи и играет роль сферического зеркала с большим радиусом кривизны; рассеяние отраженных лучей, при выходе из воды, дает радужный ореол.

Из физики нам известны те искажения предметов, которые получаются от выпуклых и вогнутых сферических зеркал.

Описываемое сочетание изгибов зеркальных поверхностей при постоянном и разнообразном движении водной массы могло давать самые причудливые, оригинальные и красивые отражения, которые несомненно привлекали внимание туземцев.

В их представлении эти явления природы были окрашены особым значением; и мало культурная, но чрезвычайно нервная женщина — ребенок, каковой была героиня повести Селеста, — естественно отдала дань этим толкованиям и предрассудкам.

Вторым, несомненно существенным фактором, является нервная конституция самой Селесты, с ее совершенно своеобразной склонностью к т. наз. нарцизму.

Эти патологические склонности, встречающиеся как у юношей так и у девушек, получили свое название от известной метаморфозы Овидия о Нарциссе, который так любовался своим отражением в воде и так влюбился в себя, что упал в воду и утонул, а на его месте вырос цветок, получивший название нарцисса.

Нарцизм наблюдается чаще всего в переходном возрасте полового созревания, когда гормоны полового эндокринного аппарата начинают сильно влиять на организм и в частности на центральную нервную систему и весь психический уклад данной личности.

Нарцизм в своих крайних проявлениях близко граничит с аутизмом шизофреников, и таким образом ярко выявляет психопатологическую природу данного субъекта.

Трагический конец рассказа свидетельствует о расстройстве душевного равновесия у героини повести.

Условия неблагоприятной наследственности (в данном случае алкоголизм отца), склонность к мечтательности и депрессивным состояниям, недостаточное общее умственное развитие и понижение самокритики, привели к той катастрофе, которой заканчивается вполне правдивая повесть, написанная при этом в духе Стефана Цвейга.

Проф. В. Нарбут.

Директорша



Рассказ Б. В. БАЖАНОВА

Иллюстрации Н. М. КОЧЕРГИНА

Автор награжден 2-й премией на Литературном Конкурсе „Мира Приключений“ 1929 г. „За работой“ (см. № 7 журнала).

I. Сбитый замок.

День был ясный, но ветренный. Пришедшие рано—озябли. С поднятыми воротниками и засунув руки в карманы, они сердито встречали опоздавших:

— Было объявление, чтобы в 10 часов. А теперь полчаса 12-го. Жди вас, лентяев!

— В казарме или тут, во дворе, ждаты! Демидовой еще нет. В город за трестом поехала,—возражали подхалившие.

— Это директорша-то? Больно много она ездит,—сказал кто-то.

— Стараются. Пока похаять нельзя. Фабрику к сроку оборудовала,—возразил другой. Первый покачал головой. Через двор спешно прошел, почти пробежал, председатель фабкома, с красными ушами и с увесистым молотком в руках. Рабочие сочувственно смотрели за ним. Степанов взобрался на трибуну перед входом в корпус. Он постучал молотком по обтянутому красной бязью перилам и крикнул:

— Подтагивайтесь, ребята. Едут—сейчас из города телефонили. Начнем поскорее, да и по домам.

При восторженных криках мальчишек к трибуне подошел оркестр. Красноармейцы снимали огромные желтые трубы, доставали ноты, строго оглядывались и просили не толкаться. Толпа плотнее отступила трибуну. Степанов оглядывал с нее собравшихся, как главнокомандующий перед боем.

— Папаша, тебе говорить, полезай на палату,—крикнул он старику ткачу Жданову. Соседи со смехом и прибаутками подтолкнули того на ступеньки.

— Анна, тебе тоже роль дали, раздели с пареньком компанию! — Пожилую ткачиху Борисову тоже втокнули на трибуну. Поставили поближе отряд пионеров. Их барабанищик искоса поглядывал на оркестр и соображал, чей барабан стучит громче. Степанов разглядел у ворот автомобиль и закрычал:

— Павел, беги, давай!—Над двором разлился протяжный и тонкий гудок. Через толпу от ворот к трибуне протискивались

несколько мужчин в серых кепках и технических фуражках. Между ними — высокая женщина в вязаном платке, заправленном под воротник пальто.

— Идет! Директорша!—говорили в толпе, теснясь к женщине в вязаном платке. Та чувствовала обращенные на нее тысячи глаз и, грузно ступая, старалась глядеть поверх высоких красных корпусов. Она стыдилась с непривычки своего положения. Попросила у стоящего рядом папирску, хотя никогда не курила, озябшими пальцами захватила папирску, помяла ее и затаилась. Большое и красное лицо ее сделалось еще круглее и краснее.

Степанов постучал по перилам молотком и закричал:

— Товарищи, митинг открыт. Товарищи, я буду краток. В общем и целом, товарищи, поздравляю вас с пуском Барановки, которая вместе с тем есть последняя пустующая в городе фабрика. Слово для доклада предоставляется председателю треста т. Воробьеву.

Воробьев, предупредив, что он тоже будет краток, объяснил значение пуска Барановки для СССР вообще и их города в частности. 11 лет назад, захлебываясь радостью, прибежал парнишка из ткацких учеников и заорал: Забастовка! Кончай работать! Морозовские в город с флагами идут!—В этот день Барановка встала и промочала 11 лет. Неделю праздновали революцию. Бежал за границу хозяин. Фабрика очутилась без денег и сырья. Потом, как маломощную и технически отсталую, ее совсем закрыли. Станки увезли, рабочих взяли на соседние фабрики взамен ушедших в деревню. Наступила в корпусах тишина. И только теперь пришли плотники и каменщики, стали строгать, штукатурить. Фабрика входит опять в рабочую семью. 3 000 безработных текстилей начинают работу. Ежемесячная выработка сырья увеличивается на 40 000 метров и т. д.

Потом Воробьев перешел к следующему, самому важному. Сделав паузу, он заговорил о женском движении в СССР вообще

и в их городе в частности. Привел цифры: увеличивающееся количество женщин в горсовете, кооперации, производственных совещаниях, цехбюро и мн. друг. Указал, что женщины—делгатки—активные строители социализма. Женщины—делгатки—несут в коллектив революционную струю, заражают его энтузиазмом, волей к борьбе и повышению своего культурного уровня на основе классового самосознания... В этом отношении пуск Барановки особенно показателен. Именно здесь, на Барановке, женщины впервые показали, что они подготовлены к выдвижению даже на ответственные посты. Впервые здесь, на Барановке, во главе фабрики становится женщина. Женотдел выдвинул и правление треста утвердило члена фабкома, Прасковью Демидову, в красные директоры на ту самую фабрику, где она 20 лет перед этим проработала сновальщицей... И опять сделав паузу, Воробьев заключил свой многословный доклад возгласом:—Да здравствует Прасковья Демидова, красная выдвиженка!

Оркестр заревел марш. Демидова чувствовала прилив гордости и стыда, как в давнопрошедший день свадьбы и потом—тоже очень давно—когда у нее родился первый ребенок. На глазах выдавились слезы. Стараясь глядеть выше, она сердито смахнула их рукавом, поводя будто по лбу. Дальше говорили представители от губисполкома, губпрофсовета, губкома, клуба пионеров, самих рабочих. Все они радовались новому крупному достижению на хозяйственном фронте, гордились фабрикой, оборудованной исключительно советскими машинами, приветствовали ее, Демидову.

— Что же я скажу?—возразила Демидова, когда Степанов предоставил слово ей.—Да, работала тут 20 лет. Хотелось стать ткачихой, да мастер высоких отбирал в сновальную. До революции тут трудно было работать. Работали не электричеством, а газом, не по 7, а по 14 часов...

— Ты на приветствие. Об этом уже говорили,—с досадой зашептал Степанов.

— Ну и что же, что говорили?—говорили!—возразила Демидова, поворачиваясь к нему.—Мы всю жизнь на это положили. Как же нам об этом и не говорить? Вот я слышала разговоры, что на четверках тяжело работать. И еще, что делали, да не доделали: яслей нет, автобус из города не ходит... А мы за 10 верст сюда пешком ходили. Утром покормлю ребенка и не вижу его до ночи. А все это к тому говорю, чтобы не думали, что тебе сразу потекут молочные реки. За прорехи нечего держаться. Работать надо—и прорехи не будет...

— Эх, нескладно говорю, подумала она, морщась и, махнув рукой, замолчала. Воробьев подал Демидовой молоток и провозгласил:

— Товарищ директор, сбей с ворот замок 11-летней консервации!—Опять засвистел гудок. Заиграл оркестр. Смотри под ноги, Демидова спустилась с трибуны и подошла к воротам, которые были заперты на популярный замок. Демидова подняла моло-

ток и ударила по замку. Жестяной замок звякнул и погнулся. Степанов не вытерпел: протянул руки и вырвал замок из пробоев. За ним десятки рук потянулись к воротам и распахнули их. Толпа, сгрудившись в коридорах, быстро распознала по огромным, светлым залам. В ткацком отделе новенькие блестящие станки завертелись, загудели. Между ними ходили приехавшие из города люди в серых кепках и технических фуражках. Воробьев объяснял спутникам:

— Это—станки системы Нортроп. Несмотря на свое заграничное название, они—честные советские граждане: сделаны на советских заводах. Это большое достижение. Пока поставлено 200 штук. Еще столько же пустим в декабре, а целиком фабрика пойдет в январе. Заметьте еще: 1 работница обслуживает вместо 8—16 станков. Это—тоже достижение. Пуск и заправка одного станка обходится вместо 12 руб.—10 руб. 80 к. Это—опять достижение...

Гости слушали, смотрели, трогали руками, даже сами останавливали и снова пускали станки на пробу. Демидова, полная еще громких речей и пения, с беспокойством следила за гостями и ждала, чтобы они кончали и уходили.

— Неужели станок сам остановится, если нитка оборвется?—особенно расспрашивали гости. Ткачиха нарочно оборвала нитку и машина, в самом деле, мягко забормотала на малом ходу и потом совсем встала, а перед работницей зажглась сигнальная красная лампочка.

— Замечательно, любопытно! восклицали гости и пошли дальше, в сортировочное отделение. Демидова отстала на шаг и зашептала ткачихе, оборвавшей нитку:

— Дура ты, Татьяна! Им это игрушка, а материалу изъят!

II. За бумагами и телефоном.

Прошел месяц. Рано утром Демидова была в корпусах Барановки. В пустых, залитых электричеством залах, молчали станки. У дверей зевал сторож в тулупе. Демидова отодвинула рукав пальто и взглянула на часы в браслетке.

— Тов. Никита, почему рабочие ушли до смены?

— А как их проверишь? Каждый по своим часам приходит и уходит.

Демидова покачала головой: месяц тянулась переписка с трестом о доставке часов для фабрики, а часов не было. Вытащила большой блок-нот, приложила его к стене и записала: «Выяснить в тресте о часах».—Кабинет—маленький как спичечная коробка, насквозь прокуренный—окурки и спички на столе и под столом после вчерашнего заседания. Справа, за фанерной перегородкой, щелкала машинка. Слева, где помещался местком, кто-то длинно и нудно жаловался на свои обиды. На письменном столе—груда писем, отношений, служебных записок, заявлений. Каждый день Демидова тратила по несколько часов на разбор их и вставала из-за стола усталая и раздраженная. Это был мир мало-

знакомый ей, чужой, часто даже враждебный, как паутина для мухи.

— Тов. секретарь, говорила она, похлопывая рукой по бумагам. — Ты просматривал почту? Вот тут бумажка о ватерных машинах.

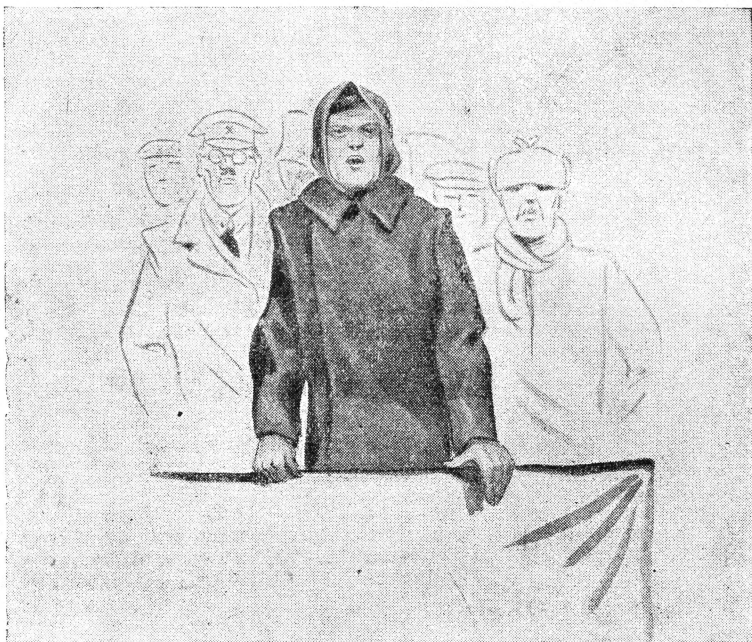
— Совершенно верно. Была такая, — с готовностью отвечал секретарь с пробормом на голове и мопровским значком на груди.

— Так это же не к нам. Это в прядильную фабрику надо.

— Совершенно верно! Можно переслать, — отвечал секретарь.

— Так ты сразу и послал бы. Что ж я на нее время зря тратила, — говорила Демидова, нахмурив брови. Глаза у нее были карие, а когда сердилась, — становились совсем красными. Заявление уборщицы Крюковой о невыдаче ей спецодежды тоже можно было сразу направить в местком. Тоже потерянное время. Отношение статотдела о присылке ежемесячной отчетности. — Не лучше ли было бы ему получать эти сведения прямо в тресте? — А в кабинет уже вошел технорук, вежливо поздоровался и доложил, что на подстанции не хватает выключателей. В тресте Иван Николаевич сказал, что выключателей у них нет. Это явное недоразумение: они есть. Надо только переговорить с т. Воробьевым. — Хорошо, я переговорю... Завтра поеду туда, — сказала Демидова и в блок-ноте пометила: В тресте о выключателях. — Технорук удовлетворился и ушел. Демидова пододвинула следующую бумажку: от инспекции труда: в корпусах нет баков с кипяченой водой и лужеными кружками. Написала сбоку: В трест, просьба выдать. — Подумала, зачеркнула и записала в блок-нот: В тресте о кружках. Следующее — повестка из фабрайкома: сегодня в 2 часа ее доклад о рационализации. — Посмотрела в блок-нот: на сегодня же, в 2 часа, заседание в губотделе союза о перезаключении колдоговора. Взяла трубку телефона. Вызвала фабрайком. Секретарь исподобья с усмешкой глядел на ее красное, круглое лицо. Говоря в трубку, она свободной рукой шевелила пальцами, как бы для большей убедительности.

— Помилуй, тов. Сергей, я в 2 часа занята. Да и зачем тебе мой доклад, когда я уже докладывала об этом неделю тому на-



Красный директор, Прасковья Демидова начала свою речь...

зад, нет... две недели... на пленуме?... Она топнула ногой и с раздражением продолжала: Нельзя отложить... Я два раза откладывала... А главное наши ребята уже слышали об этом на пленуме... Не приду, так и знай. — Она повесила трубку. Подумав, записала в блок-нот: 2 часа фабрайком, — решив уйти пораньше из губотдела, опоздать в фабрайком, а в общем попасть туда и сюда. Следующее отношение за № 10875 из правления треста сообщало, что в текущем месяце отпуск пряжи для фабрики будет произведен в размере 50% заявки.

— Вот, — сказала Демидова своему помощнику, Филиппову, разводя руками. Ведь я вчера говорила об этом с Воробьевым. Ведь эти 50% нас зарежут. — Филиппов, лысый и толстый, прочитал, подумал и согласился, что 50% зарежут фабрику. Положим, что они сами сделали промах, пустив фабрику сразу с полной нагрузкой, не выяснив степень обеспеченности ее пряжей. Кроме того сыграло роль то обстоятельство, что за последний месяц они не выполнили промфинплан на 120%: вместо 22 500 метров суровья сработали 18 200, что произошло, как он уже говорил и указывал, из-за простоя и частых поломок станков.

Эти 120% невыработки сделались для Демидовой все равно, что горбату напоминание об его уродстве. Филиппов, как всегда, был прав. 120% были — и именно по тем причинам, о которых он говорил теперь и указывал тогда. Нельзя было возразить, что он не говорил и не указывал.

— Что сделали, то кончено. Ты скажи, что теперь делать? — спрашивала его Демидова, с нетерпением глядя на обрюзгшее, равнодушное лицо помощника.

— 50% они, конечно, добавят. Если нет своей пряжи, пусть сделают завоз с других мануфактур.— Он подумал и добавил:— Например, с Высоковской мануфактуры. Главное, чтобы мы сумели выработать норму. Для этого, как я уже вам говорил, товарищ, надо переоборудовать станки челноками. У вас есть акт комиссии, которая признала это срочной задачей. Так и скажите Воробьеву.

Демидова вздохнула и ничего не записала. Нечего было записывать. Надо было сейчас же ехать в трест. Эта бумажка за № 10875 переворачивала весь ее рабочий день, ломала весь план, как неожиданная недостача в лавке хлеба или мяса ломает все хозяйство семьи... За тонкой перегородкой справа или слева шелкали машинки. В местном разговаривали, перебивая друг друга, уже два человека. В кабинет вошла молодая работница в фетровой шляпе:

— Здравствуйте! Принимает тов. директор? Я к вам. Дело в том, что позавчера,— нет, вру, в среду — у меня в клубе украли чулки. Стоят два с полтиной. Я только что купила. Из кармана вытащили.

— Милая, я-то тут при чем? — спрашивала Демидова.

— Вы как директор. Я заявляла в клубу, чтобы мне заплатили или купили новые, но он отказался. Я к вам, как к директору. Как клуб в ведении фабрики.

Демидова, наконец, решила:

— Тов. секретарь, пошли ее в культотдел к т. Поспелову. Пусть он разберет... Перебивая девушку, вошедшая Борисова заговорила:

— Что ж ты, директорша, за подмастерьями своими плохо смотришь? У меня перевод сломался. Я побежала к Смирновой, а она: я смену кончила, время бежать ребенка кормить. — Пока ходила да искала Иванову, подшильник от нагрева загорелся. Это чтоб раньше мастера да стали друг к дружке гонять!

— Хорошо,— сказала Демидова, я вызову Смирнову.— Но Борисова встала перед столом и заговорила громче.

— Нам не сахарно, что ты ее вызовешь. Ты ставь настоящих мастеров, которые не побегут от станка ребят кормить. Станок то полчаса пустой стоял. Мы не помесично получаем. Ты вот на производство который день носа не показываешь. Видно в кабинете сидеть удобнее.

Демидова взглянула на кучу бумаг, которую надо было разобрать сегодня же, на часы, которые показывали уже половину второго... Пора ехать в трест. Надо попасть и на оба заседания... Никак нельзя пойти самой туда, между шумящих станков, самой посмотреть, понять, сделать, — хотя вопрос касался не только упущения подмастерья. Он касался всего института женщин-подмастерьев, который пробовала вводить Демидова, наталкиваясь на тайное и явное сопротивление самих же рабочих.

— Тов. секретарь, проводи ее к технику, пусть разберет о Смирновой, — решила Демидова.

Борисова напомнила в дверях.

— Да и челноки вот еще. Челноки фиговые. Между пальцами ломаются. Все жалуются.

Демидова не стала записывать о челноках; не раз уже о них говорили, и она говорила. Но в тресте всем было некогда и просили зайти завтра, на днях, или лучше — через неделю. Успела разобрать еще несколько бумаг: отношение ВСНХ о представлении отчета — это в бухгалтерию. От РКИ — выполнена ли правительственная директива о снижении себестоимости на 7% — об этом, кажется, уже писали. Позвала бухгалтера. Бухгалтера не было: не вышел сегодня на работу, а его помощник как сказал сначала, что ничего не знает, так не нашел ни в делах, ни в своей памяти. — Из экономического отдела Госплана напоминание о квартальной отчетности. Трудно было сказать, что хуже: квартальная отчетность или челноки. Она отнимает огромную силу, на нее тратятся громадные деньги, а в конце концов — она посыпается с таким опозданием, что, наверное, читать ее не станут.

Опять зазвонил телефон, т. Лесной просил сказать, в каком году основана Барановка: срочно нужно для рассказа о революционном прошлом фабрики. Демидова не дослушала и крикнула в трубку:

— Обойдется. Все равно дрянн напишешь.

Секретарь дважды напомнил, что пора ехать. Вручил объемистую папку с делами. В кабинет вошли несколько рабочих. Впереди всех — престарелый Жданов.

— Некогда, папаша, уже придите, — говорила Демидова, грузно шагая к выходу.

— Ужо — смена. А поговорить нужно. О челноках все.

— Нельзя сейчас. Видите, на заседание еду... — Садилась в пролетку. С крыльца кто-то бросил вслед:

— Кто едит, а кто и теперь, как при старом режиме, ноги бьет...

III. На приеме в тресте.

В вязаном платке, заправленном под воротник пальто, Демидова поднялась по широкой лестнице к двери с блестящей надписью: Правление хлопчатобумажного треста. Смахнула с пола пушинку и вошла, прижимая папку локтем к боку.

В больших светлых комнатах стучали машинки, сновали люди с портфелями и без портфелей, в рыбьих очках и без них, курьер нес на подносе сразу дюжину стаканов с чаем, а надо всем внушительно тикали огромные круглые часы. Все говорило о порядке, аккуратности, которой были тут пропитаны даже начищенные дверные ручки, и которой так не доставало там, на фабрике. На двери в кабинет председателя объявление предупреждало: Прием с 12 ч. до 3 ч. Но кроме него, секретарь подробно опрашивал каждого: зачем и почему — и направлял сразу в другие комнаты. Этого тоже не было заведено на Барановке и оттого — всех — и девушек, потерявших чулки, и ткачих, не нашедших

подмастерья, приходилось выслушивать и разбирать самой директорше.

Секретарь заглянул за дверь с надписью «Председатель» и разрешил:

— Войдите, пожалуйста. Николай Иванович вас примет.

Он оглядел ее высокую нескладную фигуру в торжествующем пальто и валенках и добавил скучно:

— Извиняюсь, вам раздеться бы... У нас тепло... Паша, примите у товарища пальто.

Паша, ровестница Демидовой, успевшая, наверное, вырастить своих Паш, уже стояла перед нею. Демидова заторопилась, прижимая левым локтем к боку мешавшую ей панку, и высвободила из пальто правую руку.

— Позвольте паночку, вам удобнее будет, — сказала Паша. Она посмотрела ей на ноги, повесила пальто и протянула панку. В черной кофте на выпуск и серой бумажной юбке, в которой было тепло и удобно там, на фабрике, Демидова чувствовала себя здесь, как голая. Тесемки у панки развязались и бумажки вылезали из под крышек. Засовывая их на ходу, Демидова протиснулась в дверь. В просторном кабинете за огромным столом, с двумя телефонами, сидел председатель треста, Воробьев. Он наклонил над бумагами белокурую, скуластую голову и подпер ее руками, такими же жилистыми и красными, как два года назад, когда работал мастером на ситцевой фабрике. Он кивнул ей головой:

— Здравствуй, директорша! Как живешь?

Демидова почувствовала себя опять легко и свободно. Этот — свой, он не станет отсылать от одного к другому или сваливать все на летний снег. За эту крепкую связь с рабочим классом (он и очков не носил) его и уважали. — Как у тебя бабь комплект работает? — продолжал Воробьев.

— Работает хорошо, т. Николай. Так — 400 кусков в месяц, а он 650 выгнал. Теперь я дальше хочу пойти. В браковщики пару ткачих поставить.

— Валий, валий, Выдвигай баб. Надо какнибудь к тебе собраться, посмотреть.

— Зачем же дело стало? Поговорим вот и поезжай со мной. — Воробьев подумал, поморщился и покачал головой:

— Сегодня никак нельзя. Завтра — тоже. Пожалуй, всю эту неделю никуда не выберусь. Очень много сейчас работы... Вот для интереса и всяких там... я даже записываю, куда у меня время уходит. Да... вот с 1 по 23 декабря только 2 дня мог деликом посвятить производству. Все остальное — доклады, конференции, совещания, рационализации, плановые, снабженческие и всякие там комиссии. — Воробьев оживленно перелистывал тетрадь. — Так, например, 1 декабря с 10 ч. утра до 5 час. вечера был занят в фабкоме, где делал доклад о работе треста. 2 декабря с 11 ч. до 2 — заседание Правления, с 2 до 6 — Губотдел,



Демидова за бумагами и телефоном...

где тоже делал доклад. Вечером с 8 до 10 — на производственное совещание на Высоковской мануфактуре, тоже с докладом. Да... и так каждый день, в двести мест надо поспеть: правление, производственное совещание, губотдел союза, бюро фабрайкома, треугольник, бюро ОЗЯ, беседы с инженерами и специалистами, очень много работы, — перечислял Воробьев.

— Это правда, — сказала Демидова. — Я сама — член бюро ячейки, представитель РКИ, руководитель технического совещания, представитель в производственной комиссии, еще где-то... Засиживают нашего брата на этих заседаниях, на собраниях... За эту неделю я 9 докладов сделала. Мое ли дело клуб? Ну, послала в культотдел вместо себя Петухова, завклубом, а завкультотделом обиделся, почему не сам директор. В кабинете, говорит, отсиживаюсь. Танут

непрерывно директора по самому пустяку. Нет времени на производство пойти.

— Комиссии тоже много времени требуют, — продолжал Воробьев. — Недавно из ВСНХ приезжала. Понадобилось срочно составить промфинплан с полной калькуляцией себестоимости. Всю неделю сверхурочно работали. Теперь нас Комиссия губ РКИ обследует. Пересоставляем промфинплан с полным пересчетом калькуляции в связи с затруднениями в снабжении сырьем. А сегодня позвонили: УГОРКОМ будет обследовать. Вот сижу, делаю наметку к докладу. Всех надо принять, объяснить, показать...

— Эти приемы у меня вот где сидят, — сказала Демидова. — Особенно рабочие. По самым пустякам им непременно поддай самого директора, а попробуй сказать против — скажут: оторвался от масс.

Воробьев усмехнулся: — Между прочим, все говорят, что ты своими бабными комплектами и приемами рабочих распустила. А это вредит производству. Ты заведи, как у меня. Во первых, приемные часы: от 12 до 3, раньше или позже хоть на 10 м. — ни, ни! Во вторых: строгий приказ секретарю, чтобы не засиживались: через 5 или 10 минут входит и докладывает, что вас там вызывают. Только этим и спасаюсь.

— Ловко, — сказала Демидова. — Ах, ты жила! А если у другого не разговоры, а настоящее дело?

— Ты значит не понимаешь насколько важна во всякой работе строгая и определенная система, — возразил Воробьев. — Да, система. Директор — значит директор. Начинается с того, что приходят в кабинет как вздумается, а в конечном счете, они же тебя в стенгазете будут крыть за расхлябанность. Ну, так в чем же дело?

— Демидова порывалась в панике и вытащила измятое отношение за № 10875.

— Вот — сказала она, — твоя бумажка. Ведь это значит половине рабочим расчет?

— Вагжановка подкузьмила, — возразил Воробьев. — После пожара работает с неполной нагрузкой. Откуда мы тебе пряжи возьмем? Да тебе хватит. Прошлый месяц ты на 120% не выполнила.

— Не выполнила не по своей вине. А на Вагжановке нет пряжи, завези с других мануфактур. Ведь и вашим ситцевым фабрикам будет убыток без нашего суровья. Ты завези с этой... Забыла как она называется...

— Пожалуй, это дело, — сказал, соображая, Воробьев. — Можно завести и с Высоковской фабрики. Выход, я скажу тебе, только в этом. Сейчас мы все это обмозгуем. — Он позвонил и попросил коммерческого директора. Коммерческий директор, Иван Федорович, отдуваясь, согласился, что выход только в этом. Тут он помолчал, переглянул с Воробьевым и продолжал: — Но так как это связано с увеличением накладных расходов, то, чтобы не повысить себестоимость, что противоречило бы инструкции дентра, придется...

— Расценки снизить? не согласна! — воскликнула Демидова. Воробьев зевнул, а

Иван Федорович, поморщившись от резкого слова, продолжал, обращаясь, преимущественно, к председателю треста:

— Не снизят, а перекалькулировать суровье. Если сейчас мы расцениваем метр по 51 к., то придется назначить 40, в крайнем случае, 43.

— Ловко! — воскликнула Демидова, обращаясь тоже к Воробьеву. — Ну, и жила же ты, Николай. Ты весь этот гривенник израсходуешь? Худо-худо тресту половина останется. Понятно, что вы и Вагжановку сполна не пускаете...

— А понятно — держи язык за зубами, — сказал Воробьев, с досадой смотря в ее карие глаза. — Что значит, тресту? Ты сама в тресте. Между прочим, говорят, что ты об этом и на собраниях речь ведешь. Это уж похоже на демагогию. Экая у вас, баб, привычка все делить на твое и мое! Ну, не 43, так 45 и не спорь больше.

— До поры до времени — не буду, — сказала Демидова, соображая, что с 45 еще можно мириться, и что потом еще, поторговавшись, удастся выгадать еще 2—3 копейки.

— Еще у тебя там что? Выкладывай поскорее, пожалуйста, — сказал Воробьев. Демидова открыла свой блок-нот и водила пальцем по исписанной странице.

— Часы еще надо для фабрики.

— Все не получила? В отдел снабжения. Тебе дадут, — сказал Воробьев, встав и переступая с ноги на ногу. — Поторопись, пожалуйста, засиделся с тобой, другой раз лучше зайдешь.

Демидова второпях пропустила несколько мелких записей — можно в другой раз — и остановилась на последней, которую отложить никак было нельзя:

— О челноках еще. Жалуются ткачихи, что ломаются, а запасных нет.

— Я думал уж получила. В хозяйственный отдел. Скажи, что я распорядился выдать, — повторял Воробьев, взглядывая на часы и собирая бумаги в портфель. Демидова записнула свой блок-нот в панику и долго завязывала тесемки, склонив красные глаза.

— Портфель тебе завести надо, директорша — с сожалением сказал Воробьев.

— Где уж нам в казашный ряд, — возразила Демидова. Она была недовольна. С виду не к чему было придраться! Воробьев удовлетворил все, о чем она просила. 45 коп. были, в конце концов, тоже в порядке вещей: на то он и председатель треста, чтобы соблюдать выгоду. Но от всего его приема осталась муть, как в воде: ничего особенного, а выпить отвратительно.

В дверь постучались и секретарь высунулся и с извинением сообщил, что Николай Иванович вызывает...

— Не беспокойся, голубчик, — сказала Демидова, выходя, я уж кончила. — Огромные часы показывали 5. Служащие собирали бумаги, одевались, уходили. Она опоздала и в Губотдел, и в райком, и ничего не сделала ни о часах, ни о челноках.

Грустно сходя по лестнице, вспомнила о баках для воды и луженых кружках. Но было поздно и не хотелось возвращаться. Лучше было заехать в другой раз.

IV. Часы и челноки.

Прошел другой месяц. Демидова в правлении треста делала доклад о работе фабрики за январь.

— Вопросы есть? — спросил Воробьев, когда она замолчала и грустно села. Не сколько минут никто не говорил. Потом коммерческий директор, Иван Федорович, почеркал карандашом в записной книжке и спросил:

— Извиняюсь, на сколько % не выполнены вами промфинплан за месяц?

— На 20⁰/о... Скажу точно, 20,6⁰/о, — ответила, нехотя, Демидова.

— Вот. На 20,6⁰/о. Чем же объясняется такая большая цифра?

— Я уже говорила, — сказала Демидова. — Большой брак у нас челноков. Чуть ли не по десятку в день бьются челноки, а от этого простой. От простоев снижается и выработка.

— Разрешите еще, — попросил Иван Федорович. — Это довольно странно. Бьются! Чем же объясняется, что они бьются?

— Ты, Иван Федорович, покороче, — сказал, зевая, Воробьев. — Ты один этого не знаешь. Там целая комиссия была. Нашла, значит, что челноки сделаны из сырого дерева, а теперь высыхают и ломаются, как спички.

— Заменить надо, — возразил Иван Федорович, — срочно переоборудовать. Иначе т. Демидова сорвет не только собственный, а весь наш план. Мы перевели теперь Вагжановку на 3 сменку и производство пряжи увеличилось на 37⁰/о. А Барановка не поспевает использовать из нее и половины.

— Товарищи, — встала Демидова, — разве мы не принимали мер? Но в хозотделе треста челноков нет и пришлось послать заказ в Москву. Ответа все нет. Завтра едет в Москву т. Архангельский. Я ему уже говорила, чтобы он заехал на завод и выяснил точно, когда мы получим челноки.

Ее слушали, и, казалось, не очень верили. Действительно, разве не смешно было, что ряд важных вопросов: оборудование фабрики, снабжение ее сырьем и т. п. удавалось уладить благополучно и без больших хлопот, а вот достать челноков не удалось целый месяц. Между тем без челноков фабрика не могла работать. Нехватка в челноках грозила фабрике остановкой. Понятно, что в тресте не могли быть довольны директоршей.

На другой день Демидова опять говорила с Воробьевым о челноках. Воробьев позвонил и вызвал инженера Архангельского.

— Непременно узнайте в Москве, скоро ли будут челноки, — распорядился он, не глядя на Демидову.

— Я это имею в виду, но дело в том, что не было вообще надобности их зака-

зывать. На Пролетарке в ткацком подвале есть 500 штук заграничных челноков.

— Так что же ты раньше не сказала? — воскликнула Демидова.

Тщательно выбритое, спокойное лицо Архангельского вызвало удивление. Он пожал плечами и ответил, обращаясь к Воробьеву:

— Я только на этих днях узнал случайно об этих челноках от Павла Петровича.

— В общем это не важно, — возразил Воробьев. — Факт тот, что челноки есть. Вот тебе записка к тов. Егорову. Он выдаст тебе 250, впрочем, хватит 200 шт. Красная и счастливая Демидова сложила бумажку, спрятала не в папку, а в карман юбки и встала.

— Часы еще, — вспомнила она

— Ох, уж эти часы, — со скукой посмотрел на нее Воробьев. — Слушай, Демидова, я узнал точно: круглые часы — это очень дорого. Я дам тебе попросе — то сам не могу, а зайди наверх к Алексею Михайловичу. — Демидова не стала возиться с часами, а поспешила на Пролетарку. Дорогой поминутно ощупывала карман: тут ли драгоценная бумажка. Челноки будут. Фабрика заработает с полной нагрузкой. Рабочие будут довольны. Трест — тоже...

В ткацком подвале на Пролетарке лежали не челноки, а челночные колодки... Демидова опять явилась в кабинет к Воробьеву.

— Э, чорт, уехал Архангельский, — сказал тот с огорчением, что опять придется возиться с этим надоевшим делом. Ни один другой директор так не надоедал ему, как Демидова! И главное — все пустяками. Разве не смешно, что директор не может раздобыть челноки. Решено было немедленно послать Архангельскому телеграмму. Демидова, растерянная и усталая, вышла. Вспомнила о часах. Поднялась наверх к Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович искренно удивлялся: — Какие часы? Николай Иванович ошибился. Вам надо обратиться к Петру Фадеечу в комнату № 35. — Но Петр Фадееч уже ушел: занятия окончились.

А на фабрике рабочие опять приходили в контору и, потрясая разбитыми челноками, кричали, что так работать нельзя. Они ведь получают не помесечно, как другие, а с выработки. Почему на других фабриках все есть, а у них не могут достать такой пустяковины, как челноки? — Демидова опять вылезла из пролетки и поднялась по широкой лестнице треста. Телеграмма Архангельскому не была послана. Воробьев случайно узнал, что челноки можно заказать здесь же, на деревообделочном заводе. Он вручил Демидовой новую бумажку директору завода.

— Устал я с тобой, директорша, — сказал он и зевнул. — И все у нас от тебя устало. Каждый день тебе что-нибудь вынь да положь. А все потому, что в дело мало вникаешь. Тебе бы сразу на завод обратиться. — Демидова хотела возразить,

что до сегодняшнего дня он сам не знал, что его завод может изготавливать челноки. Но она спешила. Кроме челноков, нужны были еще часы. Петр Фаддееч возмутился, выслушав Демидову.

— Скажите ему, чтобы перестал дурака ваять! Я тут совершенно не при чем. Только он может выдать. — Демидова хлопнула дверью и побежала опять к Воробьеву. Тот собирал в портфель бумаги. Он с усмешкой поглядел на директоршу, хотел сказать что-то опять насмешливое. Но слова застряли у него в глотке под яростным взглядом красных глаз Демидовой.

— Что ж это у тебя делается! — закричала Демидова. — Довольно я обивала твои пороги. Один посылает к другому, а дело ни с места. Не уйду, пока часов не будет! — Воробьев заволаговался и, кажется, даже возмутился. Он обещал разобраться и завтра определенно доставить часы. Сегодня же он не мог. Он торопился на заседание в ячейку. Навив бумагами портфель, он ушел. Демидова следом за ним пошла в канцелярию. В телефонной будке долго вызывала деревообделочный завод: научилась за это время сначала справиться, а потом уже идти. Директор завода сказал ей № технического директора. Технический директор обещал выяснить точно через неделю, возможно ли вообще принять такой заказ.

— Поймите же, товарищ, — кричала Демидова, что за неделю фабрика может встать. И потом у меня же точное распоряжение председателя треста, чтобы сделать...

Директор возражал. Демидова настаивала. В канцелярии служащие переглядывались, прислушиваясь к ее громкому голосу, и шептались: — Поет хорошо, где-то сидит наша директорша. — Наконец, Демидовой обещали приступить к заказу завтра. Она повесила трубку и вышла из будки, у которой нетерпеливо вертел ручку какой-то молодой человек с телефонограммами в руках. Обещание приступить к заказу завтра значило, что завтра же нужно ехать на завод и надоедать там так же, как она надоедала тут, Воробьеву. А у нее не все еще было сделано здесь.

Щелкали счеты, стучали машинки, скрипели перья: большая машина двигалась аккуратно, размеренно пережевывая тысячи бумажек. Надо всем на стене тикали большие часы. Кто-то высунул голову из за двери и тотчас спрятал проговорил: — На часы загляделась. Своих нет, так тут полюбаваться. — Демидова сделала красной, как кровь. Подумала, положила папку на стол, заставив удивиться счетовода. Подошла к стене, приставила стул, влезла. В комнате вдруг стало тихо, только часы слабо звякнули, когда ее руки поспешно снимили их.

— Извиняюсь, — пробормотал счетовод, смотря с удивлением на высокую женщину в платке и валенках.

— Извиняйся на здоровье, — сказала Демидова, осторожно спуская ноги на пол. Скажи Воробьеву, что те часы, которые

мне обещал, пусть сюда повесит, а я уж эти возьму. — И она ушла, грузно ступая и унося часы подмышкой.

V. На собрании ячейки.

Часы остались висеть на фабрике, но челноков не хватало попрежнему. Очередной месяц дал 25% невыработки. Воробьев вызвал Демидову и сказал ей с худо скрытым раздражением, как говорил много раз:

— Ты что же это, директорша? Придется сделать организационные выводы. Не справляешься с работой, так и скажи. — Демидова не оправдывалась, не объяснялась, издевая за это время, что самые ясные, самые убедительные оправдания и объяснения тут же забудутся и останется, по прежнему, голый факт: 25% невыработки. Воробьев продолжал:

— Между прочим, ко мне поступают опять жалобы на твой бабий комплект. Не хотят твои ткачихи работать с женщинами-подмастерьями. Не понимают те дела, при малейшей неисправности — зовут мастера... И потом еще браковщины. Не бракуют, а блины пекут... Я, конечно, не против выдвижения женщин, но надо разбираться. Если работница не понимает дела, зачем же ее выдвигать на такую работу? — Демидова возразила:

— Все это неправда. Старые мастера бузу трут, а наши дуры им подлаивают. За этот месяц другие комплекты по 500 кусков дали, а мой, бабий комплект — 700 выработал...

— Производительность налицо, ну а 25%? — усмехнулся Воробьев. Демидова покраснела:

— Ну, не гожусь, так снимай, — угрюмо сказала она.

— Я так вопроса не ставлю, — строго ответил Воробьев. — Но вообще... Если тебе мало челноков, закажи еще...

... Ах, эти челноки! Завод готовил их точно на конкурс, кто может сделать меньше всех! Десятки в день. И ежедневно Демидова, — устав простишь, грозить, жаловаться, ругаться, — появлялась в конторе завода, забирала очередной десяток челноков, нанизывала их на веревочку и ехала на фабрику. Ее уже прозвали: директорша с челноками. И под этим заглавием в местной газете однажды появилась целая подвальная статья, в которой некто Л-ой с гражданским негодованием рассказывал, как директорша, вместо того, чтобы рационализировать производство, уменьшать угар, сокращать простои и т. д. и т. д., — ездит самолично за челноками! — а в результате — брак, простои, снижение выработки и т. д. и т. д. В общем и целом, надежды рабочих не оправдались, с Демидовой им не о чем говорить... Пришел секретарь Демидовой и, смотря в бок, объявил, что вчера эта заметка обсуждалась на ячейке и предложили дать ей объяснения на открытом собрании.

— Почему не вызвали в ячейку меня? — возразила Демидова. Секретарь быстро ответил:

— Мы думали, что вас нет...

— На завод за челноками опять поехала? — возразила Демидова. Секретарь пожал плечами, рассерженный ее придирчивостью, или, может быть, догадливостью.

На открытое собрание ячейки, на котором должны были судить директоршу, собрались почти все рабочие. В зале было

душно и жарко. Демидова влезла на подоконник и открыла форточку. Но стало дуть в спину. Полезла опять и закрыла форточку. Села за стол и поскорее развернула блок-нот. С деловым видом стала переглядывать старые записи. Все, чтобы только не глядеть на недоброжелательные лица вокруг. Было неудобно и жарко сидеть. От всего этого не собравшись мыслей. Вошел ее секретарь. Он сел среди рабочих, попросил у соседа справа папироску, соседу слева сказал, что на улице совсем оттепель. За эту его простоту и любили его рабочие и, не боясь, высказывали свои нужды. И

сейчас сосед сзади нагнулся к нему через плечо и громко зашептал в ухо:

— Степан Матвееч, правда, фабрику-то закрывают? — Степан Матвееч, чуть морщась от дешевого табаку, ответил, покачивая головой:

— Авось до этого дело, ребята, не дойдет. Ведь сами разочтите: оборудовать, затратить столько денег, а через четыре месяца — хлоп!

— Вот и мы тоже говорим, — обернулся к нему рабочий сзади. — Главное дело —

чего у нас не хватает? Челноков! Тыфу! — он сплюнул. — Если уж такой пустой вещи не найдут, то я уж не знаю.

— Не в этом, ребята, дело, — возразил Степан Матвееч, — найти можно, надо только понимать. К примеру, у тебя болит зуб и ты приходишь ко мне: выдерни, Степан Матвееч. — Если я человек пра-

вильный, я тебе сразу скажу: и не проси, ни фига я в зубах не понимаю, катись, брат, к врачу... Так и все должны: не понимаешь толку в зубах, неча и зубы нам заговаривать...

Демидова не слышала разговора своего секретаря с рабочими, но догадывалась, что речь о ней и, наверное, что-нибудь злое. А впрочем — наплевать на все. С этим вдруг явившимся ко всему равнодушным, она дождалась открытия собрания и сделала доклад о работе фабрики.

— Вопросы, товарищи, есть? — спросил, по обыкновению, Степанов, председатель, когда она замолчала и села.

Никто ничего не спросил. В задних рядах переговаривались между собой. Степанов постукал карандашом о графин:

— К порядку, товарищи! Борисова, ты что ли хочешь спросить?

Борисова вылезла и заговорила громко, упершись руками в бока.

— Спрашивать я ничего не хочу. Все нам тов. Демидова объяснила, нечего сказать. И почему простои, и выработка малая и прочее. Только я скажу, что от объяснений простои не убавятся и выработки



Демидова приставила стул, влезла, сняла часы...

— Извиняюсь, — пробормотал счетовод...

не прибавится. Тебя, товарищ Демидова, сюда посадили не объяснения разводить, а дело делать, — совсем уже кричала Борисова и собрание явно ей сочувствовало. Степанов из вежливости постучал карандашом о графин:

— Ты, Анна, потише кричи. Да без личностей. К делу ближе.

— Чего ближе, 25% невыработки. Это нам не сахарно. Мы ведь получаем не помешающе, как другие. Нам худая машина — зарез. А если к худой машине да подмастерье такой же, — сматывайся совсем с катушек, — продолжала Борисова, а с мест, перебивая ее, кричали другие:

— Это верно! — Эти твои комплекты у нас вот где сидят! — Ничего не смыслят. — У меня станок разладился, а подмастерье и глядеть не хочет: как нибудь смену доработашь, а там сьемщик сделает. — А станок ни с места, а выработка падает! — Сама баба, вот и тащит баб за уши! — Чего ребята смотрят! — Выйдем завтра и снимем всех баб-подмастерьев со станков.

Демидова молчала. Это вызвало упреки в гордости: и объяснить путем не желает. В толпе пустота вокруг нее увеличивалась. Опять стали говорить о челноках: никуда не годятся, — с засечками, отчего рвутся края. И гонки скоро срабатываются и колют погонялки. Эх, новые станки, разговору о них на рубль, а толку ни на ломаный грош!

Встал секретарь Демидовой и заговорил осторожно, ступая на каждом слове, как босиком по холодному полу. Он всецело соглашался с предыдущими ораторами в том, что дальше так дело не может продолжаться. Почасовой рост зарплаты превысил производительность труда на 3,80%. Простой поднялись на 25%. Угар увеличился на 1,50%. Это сигнализирует о наличии серьезной опасности. Причина этого, как правильно указывали предыдущие товарищи, в челноках. Заметил кстати, что челночный станок теперь вообще является устаревшим. За границей в ходу бесчелночные станки системы Габлера. Но предположим, что мы должны довольствоваться пока старыми станками. Мы слишком слабо сигнализировали об их недостатках. Надо было сразу принять решительные меры. Заслуга сегодняшнего собрания в том, что этот вопрос, наконец, поставлен в порядок дня. И, конечно, надо рационализировать все дело управления так, чтобы освободить от мелочных забот тов. Демидову и использовать ее на непосредственную работу на производстве.

С места послышались новые крики.

— Это верно, а то никогда на фабрике не увидишь.

— Правильно, что надо освободить.

— Взгромоذился на директорский стол, а такой пустяковины, как челноки, достать не может.

— Да тише вы! Что это она говорит?

А Демидова, вскочив, сверкая красными глазами, закричала, чувствуя до горла давящую обиду:

— Вижу, что поперек горла вам встала! Не хочу больше слушать попреков. Бить на жалобные слова тоже не буду. Уйду опять к станку. Не директор я вам больше.

Шум в зале возобновился. Кто-то вслух подтверждал, что «давно бы пора». Кто-то возражал. Демидова выбралась на улицу. Фу, даже руки дрожали. Разве это собрание? О чем говорили битых два часа? Сказал ли хоть один слово, как помочь?

VI. В раздумьи...

Над крышами светила яркая звезда и пахло весенней ночью. Снег лежал почерневший, подтаявший. Голые деревья качались от весеннего ветра. Как-то прежде она не замечала, что уже весна. Все силы вкладывала в фабрику, заменившую ей природу, семью — все, чем живет человек! Проходили день за днем, похожие один на другой, как листки в блок-ноте. Новые впечатления стирали вчерашние. И только оглянувшись назад, стала видеть огромный пройденный путь. Выдвинули ее, показали пустую фабрику, размытую дождями, расхищенную людьми и сказали: пустить в ход. Сложнейшая была это работа: обставить машинными, снабдить топливом, сырьем, оборудовать по последнему слову техники, по всем правилам рационализации и гигиены. Сколько пришлось читать, учиться. Знания удивляли и делали сильной, как будто накапливали деньги... И все это для того, чтобы люди сказали, что ее труд был для них — черствый хлеб!

Дома дети спали. На столе, залитом чаем, стояли тарелки с остатками пищи. Муж в жилетке сидел и прочитывал газету.

— Ужин в печке, — сказал он. И удивился: почему так рано? Собрание не состоялось? — Демидовой вдруг стало стыдно сказать правду. Успеть узнать.

— Ушла я пораньше. Голова заболела. От переутомления, должно быть?

— Переутомишься. Трудная у тебя работа. А главное — не по тебе.

Муж привык к самостоятельности жены, к тому, что у нее была своя часть жизни, в которую ему нельзя вмешиваться. Он ничего не возразит, не станет жаловаться. Но он выразит свое мнение:

— Говорил я тебе, твое ли это дело?

На другой день, впервые за 5—6 последних месяцев, Демидова не пошла из дома. Слонялась, как неприкаянная, по комнатам, открывала во всем непорядки и чрезмерные расходы. Картошку в подполье не покрыли и она позябла. Капусту не смывали, должно быть с осени. Из белья не хватало двух рубашек и пары кальсон. Под кроватами накопилось с вершок пыли. — Она променяла семью на фабрику. Для чего? Была всюду, а вернуться некуда. Во всем у каждого своя выгода и зависть к чужому.

VII. Снова...

К вечеру позвонил Воробьев. Он просил Демидову приехать завтра на фабрику.

— Не поеду. Я больше не директор, — возразила мрачно Демидова. В трубку долетали смутные голоса: Воробьев с кем-то совещался. Потом сказал, согрел ее смутной надеждой.

— Приезжай все-таки. Как нибудь устроим...

... Пораньше, чтобы не встречать много народу, пришла в контору. Приехал Воробьев с Артюхиной, женорганизатором из фабрайкома. Она сразу заговорила:

— Ты что же это, сабетажница? И думать не смей уходить! Ее выдвинули, сколько крови испортили — и вот пожалуйте!

— Все говорят, что не на свое место села. Неспособна. Сумно стало попреки слушать...

— Об этом надо было раньше думать. Понимаешь: твое дело касается не только тебя и даже не одной фабрики, а в известной степени всего женского движения. Ее выдвинули на такое место, а она — неспособна! Понимаешь, после такого скандала нам всем хоть с катушек долой.

Вошла Борисова с парой разбитых челноков.

— Ты что-ли еще директоршей? — Давай новые челноки.

— Челноки! — пробормотала Демидова и зарыдала. Она сердилась, но не могла

остановиться. Концом платка оттирала слезы, потом перестала, положила голову на руки и заплакала, не скрываясь, навзрыд, громко и протяжно, как плачут обиженные женщины.

— Этого не доставало! Воробьев, да принеси воды, — хлопотала, растерявшись, Артюхина. Борисова вздохнула, села рядом с Демидовой и отодвинула стакан с водой, который принес, наконец, Воробьев.

— Пусть поплачет, — сказала она с чувством. — И то правда, зависти много в нашем брате. Сидят в своих кабинетах. Зарезжут человека и тогда только прибегут со стаканами, — кричала Борисова. Демидова перестала плакать и подняла красное лицо. — Наладится, голубушка, — переменяла голос Борисова. — Привыкнешь поне-много. Я замуж выходила, — ах как рожать боялась! А потом привыкла.

Артюхина, окончательно приняв сторону Демидовой, выговаривала Воробьеву:

— Извини, но ты принципиально не прав. Надо внимательнее относиться к выдвиженкам. Помогать им советом и делом, а самое главное — разгрузить их от мелочей, беготни, дать возможность заниматься настоящим делом...

... На следующее утро, по пути на фабрику, Демидова заснула на завод. Ей дали сразу 20 челноков; за оба дня, которые она не была.



ЖИТЕЛИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАДАЧА № 8

В рассказе „Тесный свет“ умышленно сделано много самых разнообразных ошибок. Некоторые из них можно заметить даже при беглом чтении, другие — откроются только внимательному читателю, чтобы найти третьи — нужно поразмыслить самому и критически отнестись к героям повествования. В общем — задача много легче „Всадника без головы“ и решить ее, строго говоря, может каждый читатель, не получивший и среднего образования. Не требуется на этот раз даже и литературной начитанности. Задача рассчитана на широкую активную читательскую массу.

Решение нужно излагать так: разделить страницу пополам и слева, в порядке течения рассказа, писать неверную печатную фразу, а справа указывать, что в тексте неправильно.

За лучшие решения задачи будут выданы 5 ПРЕМИЙ: 1) собрание сочинений Чехова в переплетах; 2) собрание сочинений Салтыкова-Щедрина в переплетах; 3) собрание сочинений Эдгара По; 4) собрание сочинений Бунина в переплетах; 5) собрание сочинений Горбунова в перепл.

ТЕСНЫЙ СВЕТ

РАССКАЗ-ЗАДАЧА № 8

Кто убежал, тот может снова драться,
А кто убит, тому уж не сражаться.
Эдгар По.

Помогали.

А когда люди молчат, все вокруг кажется вдумчивее и значительнее. Так и сейчас: жалкая залуговая станция и маячившие на платформе понурые, редкие фигуры приобрели неожиданную значимость, их движения казались полными затаенного смысла, сосредоточенной деловитости, хотя в действительности людям некуда было идти и нечем заняться.

— Так как же на счет шкатулки, Аверьян?

Вопрос был поставлен четко и не в первый раз. Однако, вопрошаемый не ответил. Пошував глазами водокачку, он ширнул ими по небу, туда, к закату, где широкие желто-оранжевые полосы плакатно махровили кучерявые облака, ткнул костылем в некую точку пространства:

— На монаха похоже...

— Что — на монаха?

— Облако, говорю.

— Мда...

Пренебрежение к вопросу не вызвало в спрашивающем ни тени досады или нетерпения. Он неторопливо докурив папироску, вдавил ее в песок своей деревяшкой и покрутил головой.

— Тяжелый случай на транспорте, — усмехнулся он.

— А то бывает вроде верблюда, — продолжал исследователь природы.

— Вроде Володи? — опять усмехнулся собеседник.

— И вообще разные бывают... Особливо к осени...

Мимо прошел засаженный смазчик в широченных штанах и соломенной шляпе, похожей на ковбойскую. Он остановился возле женщины с яблоками, долго рылся, надкусил одно за другим два яблока и сказал: «до завтра». Потом крикнул в кулак, как в рупор:

— Егор! в «тошнилловку» идешь?

— Эге ж! — откуда то из-за состава ответил голос, звучный, как паровозный свисток.

Смазчик в ковбойской шляпе ушел, но настроение, вызванное его появлением, осталось. Казалось, станция стоит где-то на границе Мексики и Парагвая и сейчас из-за водокачки выскочит толпа загорелых ковбоев и от корзины с яблоками останется одно воспоминание. Вероятно, нечто подобное почувствовала и женщина, она по-

спешно встала с места и отряхнула с себя подсолнечную шелуху.

— Не дожидаться, видно, четвертого, скажут запаздывает на сколько-то часов. Может, мне домой пойти, Аверьян?

Тот, который наблюдал облака, неизвестно почему рассердился.

— Катись колбасой... Скулят тут... Канцелярия без тебя станет? Задрыва...

Женщина не обратила на сердитую реплику ни малейшего внимания. Она отобрала яблочко получше и бросила его мужчине.

— Лови, кисленькое...

Аверьян ловко поймал яблоко, разломил его надвое, проткнул половинку приятелю:

— Угощайся...

Неожиданно весело расхохотался:

— А чорт!.. Забыть не могу, как ты с поезда кубарем... Уморал... Неужто так обрадовался? А? Пескороев?

— Как не обрадоваться, слишком десять лет тебя ищу. А ты не рад? Друзья были — водой не разлить.

— Как ты узнал-то меня? Прямо чудо. Изменился я — сам себя не узнал бы.

— А по голосу. С бабой ты своей разговаривал. Сиджу у окна, пью чай, вдруг слышу Аверьянов голос. Гляжу — ты и есть, только что в бороде. А поезд уж трогается. Что тут долго раздумывать? Я и выскочил. А ведь до этого за киятком мимо тебя проходил — и невдомек.

— Барахлишко свое неужто в поезде бросил? Ха-ха-ха!.. Вот чудак! И не жалко?

— Пускай! Где наше не пропадало. Да и дена-то ему два двугривенных, не обеднею... Так ты, Аверьяша, здесь проживаешь? Как станция называется, не взглянул я?..

— Басв. Город.

— Басв? Знаю, бывал. От станции верст восемь будет. Бывал в позапрошлом году.

— Меня все искал?

— Нет. По обстоятельствам... И в голову не приходило, что ты под самым Ленинградом. Я думал, зачем ему в такое мурье забиваться? Живет где в Крыму, или на Кавказе. Есть на что разгуляться... По гроб хватит...

Аверьян, относившийся к встрече шутя, неожиданно насторожился и опасливо посмотрел на друга.

Тот продолжал:

— Ты что же не спросишь, как я уцелел? Помнишь осень восемнадцатого? Как раз одиннадцать лет назад. Ведь без малого трупом ты меня оставил. Ногу тогда мне совсем разворотило, не чаял и в живых быть... Век не забуду, как ты меня версты три на себе тащил. А тут еще мешок вещей, который я бросить ни за что не соглашался. Понял ты потом, почему? Вот то-то... Не открылся я тебе тогда вчистую, дружку закадычному, за это прости, брат. А ведь в шкатулке почитай фунтов десять было... Заметило мне тогда голову счастье это, не соображал, что воспользоваться им мне никак не придется, потому без ноги мне все одно от них было не уйти. Забыл

и то, что ты и я — одно, крепче братьев родных. Уж когда палати лишаться начал — подумал: открыться Аверьяну начистоту, он сохранит и, если свидеться доведется, не обидит. Потому и просил я тебя тогда мешок пуще глаза хранить... Ну, вот и свиделись...

Говоривший замолчал. Он кротким, благодарным взглядом смотрел в бородатое лицо друга, стараясь уловить прежние дорожные черты. Потом медленно покачал головой и печально добавил:

— А не похож ты вроде на прежнего Аверьяна, обличья открытого нет — забурьянилось оно. Чего не сбросишь? Или прячешься от кого?

— Не от кого мне, — борясь со странно охватившим его волнением, хрипло уронил Аверьян.

— И я полагаю — не от кого! Душа твоя чистая известна мне насквозь, она, как родник прозрачный, — каждая песчинка на дне видна. Али меняется душа с годами? Не поверю. Родник, как его не замутишь — отстоится. Так и с тобой должно. Чистота твоя, Аверьян, детская, и про шкатулку меня тогда открыться удержала. Думал, заподозришь что нечистое, выбросишь вон со всем богатством... А шкатулка — она мне честно, недуром досталась. Черноусенкова помнишь? Осколком его в живот подоснуло. Как возился я с ним, сунул он мне ее, «пользуйся, говорит, брат, а я — каюк». Скончался парень. Как заглянул я тогда в шкатулку — свет в глазах помутился... Известно, жадность человеческая. А спустя немного и самого искалечило. Когда тебе передавал шкатулку, мысль в голове мелькнула, что я — вроде умирающий Черноусенков, а ты — я сам. Смешное дело — судьба.

Говоривший замолчал. Он обвел глазами горизонт и в свою очередь заинтересовался причудливо изменяющимися облаками. Солнце зашло, но вокруг растлился прозрачный полусвет белой северной ночи. Аверьян тоже молчал. Время от времени он наделывался костылем в облетевшие желтые листья и пронзал их острым наконечником. Станция как будто вымерла, только где то куковал неугомонный дежурный паровоз, да женщина с яблоками изредка шумно вздыхала из самой глубины своего сырого, объемистого существа. Молчание становилось тягостным и, чтобы нарушить его, Пескороев снова заговорил:

— Так-то, браток. Это ты меня тогда в стог сена схоронил? Я так и сообразил, когда очнулся. Ты думал, я совсем готов? Нет, оклемался. Поутру меня белоорстанцы подобрали. Хотели прикончить, да один настоял в лазарет отпавить, язык, говорит, у нас будет. В Веррот, — городок у них такой есть, — свезли тогда меня. Ну, первым делом ногу оттапали, а поправился — на грязные работы меня. Это без ноги-то! Хорош работник. И то спасибо, что не на тот свет. Только недолго я там у них окочивался. В марте мужичок один в конюшне меня через границу переправил. А до

этого я все твои следы искал, думал, не попали ли и вы тогда в плен. А потом узнаю от одного красного эстонца, что ваш отряд благополучно выскользнул. Обрадовался я тогда — сказать не могу. А ты свою деревяшку, Аверьян, где заслужил? Там же?

— Это к делу не касаемо, — раздраженно уронил Аверьян. Его почему-то преследовала непонятная внутренняя дрожь, он злился на это, но никак не мог справиться с собой. Наконец раздражение победило:

— Ты вот что!.. — почти закричал он. — Бродишь ты все вокруг да около. Пескороев, как скаженный, туман только напускаешь... Что за чертовщину ты мне тогда в мешке подсунул? Ну, чего моргаешь?..

Пескороев суглобо прищурился на Аверьяна:

— Да ты что?.. Ты не заливай, дружище... Сами с усами...

— Постой, не крути... это твердое — что было? — шкатулка, говоришь?

— А ты — младенец? Не разглядел? Ящик ли, шкатулка ли, как ни назови...

— Не болтай зря... Что в шкатулке было?.. Ну...

Поздир Пескороева неожиданно расширился и задрожали, белки глаз налились красным. Он приподнялся с багажной тележки и ковыльнул шаг к приятелю, нагибаясь вперед и тяжело дыша ему прямо в лицо.

Тот тоже встал.

— Слушай, Захарченко... Не вырасти мы с тобой вместе, как два кровные брата, я подумал бы, что ты самый обыкновенный жулик. А то... жизнью ты для меня два раза жертвовал... И в тот раз не хотел меня покинуть... Умирать, так вместе, говорил... Было?..

— А хоть бы и было...

— А теперь?

— Что теперь? Я и теперь все тот же. Жуликом никогда не был... Да, говори, чорт, что у тебя было в мешке?..

— Не знаешь?.. — Пескороев злобно дыхнул в лицо друга. — Забыл?

Руки Пескороева, худые, с узловатыми пальцами, конвульсивно подергались в воздухе, как щупальцы большого нескладного паука, и сразу, стремительно сгребли Захарченко за грудь, комкая рубашку в узел.

— Постой ты, чорт, — ошалел!.. — легко отшиб руки крепкий Аверьян. — Охламон!.. Сказывай, что ты мне тогда подсунул?

Пескороев весь трясся от охватившего его негодования:

— Филонишь, Аверьяника!.. Не знаешь?.. А про деньги забыл?..

— Ой, батюшки! — охнула женщина с яблоками.

Захарченко отупело глядел на искаженное злобой лицо старого друга и не находил слов ни протеста, ни оправдания. Станция зашевелилась, словно пробуждаясь от сна. На платформе стали собираться какие-то люди. Как будто почуяв неопределенный запах золота, они бестолково замесались, забегали.

— Вот что... Айда ко мне, — рванул Аверьян Пескороева. — Матрена, домой!..

— Поезд подходит, — попробовала протестовать женщина.

— Домой, говорю!.. Зануда!..

* * *

Два инвалида, — один без правой, другой без левой ноги, — плечом к плечу, торопливо ковыляли по грязной дороге к городишке. Сливаясь вместе, они напоминали какого-то фантастического зверя, убегающего от погони. Кляцканье костылей о камни было похоже на голодный зубовой скрежет. Подождать, не поспевая, семенила женщина с пудовой корзиной яблок. Когда вскоре потянулись тухлятые заборы окраинных домишек, Пескороев впервые за время дороги нарушил молчание:

— Тесный свет, брат... Я знал, что встретимся...

Захарченко ничего не ответил. Распугивая кур, он торопливо колесил по колесчато-изломанным, как бы умышленно перепутанным переулкам, пока не остановился перед новеньким домиком с мезонином. Отер пот с лица, шумно сопя и фыркая, высморкался и молча стал дожидаться отставшую Матрену.

— Твой? — кивнул на дом Пескороев.

— Ее, вот... Потопраливайся! — крикнул он женщине.

Пескороев оглядел дом, скользнул глазами по пустынному переулку и как-то странно заинтересовался местностью. Он с беспокойством перебежал улицу, мотнулся вправо и влево по переулку, как зверь попавший в тенета, покружился среди дороги, спотыкаясь и озираясь по сторонам. Потом стремительно подскочил к Аверьяну.

— Слышь ка... давно выстроился?

— Позапрошлый год. После пожара.

— Постой... В мае погорело?..

— В мае. А ты откуда узнал?

Пескороев оперся спиной о новые ворота и засмеялся, мелко, переливчато, глуша звуки и содрогаясь всем телом. Он смеялся долго, пока не закашлялся нудным, затычным кашлем. Аверьян исподлобья поглядывал на него и недоумевал.

— Ты что, совсем спятил? — опасливо пробурчал он.

— Ты не обращай внимания... Это я своим мыслям... Ой, тесен свет, брат, тесен... Потому и смешно мне стало. Был ведь я в позапрошлом годе, в мае, в этих местах. И про пожар знаю... А домик у тебя хорош, как лакированный... И со светлой... Чудеса!..

— На страховку построились, — чтобы что-нибудь сказать, ответил Аверьян.

— А я думал, шкатулка выручила, обрадовался было, — как-то захватски весело, подетски радостно сказал Пескороев и хлопнул друга по плечу. А вот вижу, что ошибся, что шкатулка тут не причем. И еще радостнее стало!..

— После про шкатулку... Да тащишь ты поживее, плесень, — крикнул он женщине.

— Уф... Дух захватило... Загорелось дураку... Сердце зашлось, — сказала подоспевшая женщина, опускаясь на лавочку.

— Ты не разговаривай, отпирай скорей ворота.

Пескороев, переминаясь на деревяжке, благоговейно смотрел на Аверьяна и любовно улыбался. Пока Матрена отпирала ворота, он не выдержал и сделал шаг к Аверьяну:

— Эх, Аверьяша, Аверьяша, друг ты мой единственный, дай ка я тебя расделую...

Аверьян попытался.

— Да ты что... али белены объелся? Заходи лучше во двор.

— Не хочешь? Ну, ну... А может и действительно рано еще обниматься... Неизвестно, как оно повернет дело-то наше...

* * *

Они сидели в чистенькой комнатке новенького домика. Каждый про себя, по непривычному тугу обмалывал в голове свои мысли. Разговор не налаживался, точнее оба друга временно попридерживали слова, в надежде найти старый, общий, теперь утраченный язык. Ждали пива, быть может, оно сцементирует взбудораженные мысли, — Матрена побежала за пивом.

Захарченко давно примирился с обуженными рамками своей жизни. От бывшей молодой неудовлетворенности, от склонности к приключениям и от горячего задора не осталось и следа. Он обаялся, опустился, свыкся с тошнотным мещанским существованием, отвык мыслить и враждебно относиться ко всяким переменам. Теперь он смутно сознавал, как что-то постороннее вошло в его жизнь и грозило разворотить ее в неизвестном направлении, — как мертвый клин в дубовую корягу. Вся его крижистая фигура обличала растерянность и смутное беспокойство. Пескороев щуплый, общарпанный, как долго бывший в употреблении веник, любовно-ласково поглядывал на старого друга. Ему было стыдно порыва злости, овладевшего им там, на станции. Он не понимал поведения Аверьяна в отношении шкатулки, но несмотря на это, почему то сознавал себя глубоко виноватым.

Они сидели среди комнаты на стульях, далеко отставив свои деревяшки, мешавшие принять более удобное положение. Эти деревяшки почти соприкасались одна с другой на полу, поблескивая отшлифованными о камни железными наконечниками. Горела большая лампа без колпака, свет бил прямо в глаза и это почему-то вынуждало к молчанию.

— Давно женат, Аверьян? — наконец спросил Пескороев.

— Девятый год.

— Ничего баба?

— Баба ничего.

— Как это она за тебя, за безногого?

— Тогда был с ногами. После потерял. — Аверьян усмехнулся. — На домашнем фронте...

— Как так?

— Да этак... Слушай, Пескороев... Рано поздно ли, а придется нам с тобой договориться... Чую я, не поверишь ты мне про шкатулку... А вот, лишишься мне и другой ноги, если скажу неправду. Не открывал я ее, и мешка не открывал, и что там было — не знаю, не заглядывал... Не веришь?

Пескороев подумал:

— Верю.

— Нет, ты взаправду? — обрадовался Аверьян.

— Чего ж не взаправду? Ровно я тебя не знаю.

— Во за это — спасибо, друг. Теперь можно и обняться... Дай я тебя поделую...

Стукнули о пол деревяшки, друзья поцеловались и снова сели.

— Отдал что ли кому мешок тогда? Или украли?

— Ни то, ни другое. Мешок все время у меня был. Тогда нас в Питер направили. Ну, у сестры он в пустой квартире валялся. В прислугах сестра жила, а хозяйка ее куда-то сбежала, спаниковала. Жила она на кухне, вроде, как квартиру караулила. И я у ней жил, пока вдругорядь на фронт не попал. Через полгода времени опять вернулся, — отпустили меня. А с Матреной сошелся, сюда переехал. И мешок с собой захватил. И невдомек полюбопытствовать. Так, думал, солдатское барахло. Деньги, говоришь, там были?

— Деньги заграничные... И вообще... ценности... разное было.

— Откуда у Черноусенкова взялось такое?

— Тайник он какой-то открыл. Помнишь, в пустом баронском имении мы ночевали? Как его?..

— Не замок Менден?

— Кажись, что так... А где она, эта шкатулка?

Аверьян встал и взволнованно заматался по комнате, сильно припадая на деревяшку. Матался он и металась огромная, несуразная, кудлатая тень на стене. Пескороев невозмутимо ждал, наблюдая за Аверьяном, и за этой мечущейся по стенам и потолку тенью. Набегавшись, Захарченко опустился на стоящий в углу сундук, подальше от лампы.

— Вот глупость — в век не ждал этого, — сказал он. — Не знаю, как и приступить. Такая подлая мотня случилась. Будь я на твоём месте, Онисим, ни за что бы не поверил. И никто не поверит... Ни один дурак. Подь-ка ты сюда, Онисим, сядь рядом, поближе. Вот так. Ведь сгорела, выходит, шкатулка-то твоя... Сгорела вместе с барахлом твоим и со всем, что там было... Во время пожара сгорела... Вот... Хоть казни, хоть — милуй...

* * *

Пескороев поднял на него тусклые, ввалившиеся глаза и виновато заморгал, перебирая тонким пальцами, как тогда на станции.

— Глупость получилась с этим пожаром, друг Пескороев, — заговорил снова Аверьян.

До сегодня и сам не разберусь. Как демобилизовался я тогда после гражданской, перебывал кое-как в Питере. Ну, встретился с этой вот, с Матреной. Поженлись. Увезла она меня сюда, в Баев, — домишко у ней был на месте вот этого. Ну, стали жить. Сестра моя к тому времени умерла. Оставила мне наследство — две юбечки, да кофейник. Забрал я тогда от нее вещички — и твои и ее — бросил в чулане в сенах. Все как-то времени не было разобрать. А потом и совсем забыл про них. Жили мы с Матреной это время не плохо, только не хватало мне чего-то. Скука, понимаешь, тоска, не то все, чего бы хотелось. Выпивать я начал к тому времени. Все казалось мне, что место я в жизни свое потерял... Ну, вот, от этого самого... А тут и глупость эта произошла. Пришел я как-то домой под вечер, — в мае это было, — сильно выпивши. Матрена тогда в Питер дня на два уезжала. Запер ли дверь, не запер ли, уж не помню, только лег спать. Проснулся оттого, что дрянь какал-то мне на лицо посыналась. Темно — глаз выколи. Слышу, на чердаке кто-то ходит, возится. Домишко ветхий, в потолке — щели, ну и сыпется. Думал, Матрена, это. Бельишко у ней там для просушки было развешено. Окайнул я ее с сундука, — вот на этом сундуке и спал я тогда, — не отзывается. Только возня прекратилась. Зло меня взяло, все глаза мне сором запершило. Вышел я в сени, ору: «что ты, леший, возишься там, на ночь глядя! Все зенки засорила!» — Не отзывается. Обозлился я на эти прятки, зажег лампу и с лампой на чердак, — большая была лампа, стеклянная. Лезу, ругаюсь, не проспался еще как следует, и невдомек, что там может быть кто другой, кроме Матрены. А лестница приставная, лезть неудобно. Только я ухватился за верхний край, лампу вперед себя выставил, как меня кто-то огреет по голове кулачищем, — у меня и свет в глазах помутился. Оступился я, лампу из рук выронил, нога одна между перекладинами попала, что-то хрустнуло... Лежу это я внизу, ничего не понимаю, только чувствую, как бы осветилось все кругом красным. Приподнялся хочу — не тут то было, нога, что ден, не повируется, сломал я тогда ногу сразу в двух местах. А свет вокруг все ярче и керосинищем воняет до тошноты. Не успел я сообразить, что горим, как через меня какой-то леший перескочил, на ногу мне на сломанную наступил, да и был таков. Взвыл я тогда от боли, это меня и спасло. Собрал силенки, кое-как выполз на крылечко. Тут соседи подоспели, оттащили меня. Кто этот злоумышленник был, так никто и не узнал до сего дня. Вот какая глупость может случиться с человеком, брат Пескороев. И дом погорел, и шкагулка, и ноги я лишился. Пять раз мне ее резали, пока не дорезались до ручки. Вот она, полюбуйся... — Аверьян поводил деревяшкой по воздуху и умолял. Молчал и Пескороев. Он трясущимися руками свертывал папиросу и никак не мог справиться с этим делом.

— Как хочешь, брат, хочешь — веришь, хочешь — нет — вздохнул Захарченко.

— Верю... Тебе, Аверьян, больше себя верю, — срывался с голоса и проканивалаясь, ответил Пескороев. — Недуром полученное богатство, недуром и ушло, — прахом!

Наконец, он осилил папироску, закурил ее и пододвинулся к Аверьяну.

— А теперь меня послушай, друже, что я тебе скажу. Кто из нас больше виноват — разберемся после. И кому кого казнить придется — там увидим.

Он минуту помолчал, что-то обдумывая.

— Деньги, как я теперь соображаю, были последним делом, — продолжал он. — Главное, тебя мне отыскать шибко хотелось. Помнишь, какими друзьями мы были? И никого у меня кроме тебя не осталось. Как вернулся я из плена, точно чорт в меня вселился, так вот и сверлит: сыщи Аверьяна, сыщи Аверьяна! Ну, я и стал искать. В Питере никто ничего мне не мог сказать. Осенью девятнадцатого попал я в Москву. Оттуда вскоре в Архангельск — нет тебя. К Рождеству вернулся в Питер. Там Зайцева встретил, знаешь из Зуйкова? Он мне сказал, будто ты в Сибирь подался. Я туда. Где только ни побывал, до самого Владивостока добрался. Весной вернулся в Россию — на Украину, в Киев. Жил там до осени. Встретил одного нашинского, он мне сказал, будто тебя в Севастополе видели. Думаю, с деньгами мой Аверьян, значит, на легкую жизнь подался. Я туда. Весь Крым обехал. Без всякого результата. В ноябре 20-го года вернулся опять в Киев. Потом на Кавказ метнулся, в Новороссийске был, в Краснодаре. Весь Кавказ исколесил, до Тифлиса. Так до 21-го года мотался. Оттуда в начале 22-го в Ташкент, оттуда опять в Сибирь. Там я года три путался. Встретил одного парня, хорошим другом оказался, он меня и надушил. Не иначе, говорит, как в Москве живет твой приятель. Ноне кто с деньгой все к Москве стягиваются. Я — в Москву. Место там хорошее подучил, жил ничего. Только тоска. Чувствую, без Аверьяна-дружка мне и жизнь не в жизнь. Бросил все и опять в гоньбу. Всем нутром верил, что встречу тебя рано ли, поздно ли. Так вот до сего дня и мыкаюсь. Всего испытал, и голоду, и холоду. Поработаю немного, заражусь и опять айда в погоню. Временами жил, как собачий сын какой. И торговал, и воровал, и обманывал. В прошлом году в мае, вот когда ты погорел, проезжал я зайдем по этой дороге. Сначала прятался я под лавкой, ничего. А тут, как на грех, перед самым Баевым бригада меня обнаружила и высадила. Остался я без гроша денег и без приставища. Живу день, живу два, ночую по канавам. А тут как-то под вечер и покушение готово. Ташусь по переулку, а в раскрытое чердачное окно одного домишки видно — белье развешано. Вокруг ни души и калитка во двор полуоткрыта. Я во двор. Думаю, если наткнуся на кого — кусок хлеба попрошу. Сени — тоже не заперты.

Прислушался — тишина, точно вымерли все. Я на чердак, сбросил шинелишку, собираю белье, а домишко ветхий, потолочины под ногами так и ходят, точно клавиши у гармонии. Хотел уж бросить все и смыться, только слышу внизу кто-то шебаршит: мужской голос, ругается. Я к лестнице, а навстречу дядя какой-то с лампой прется. Ну, думаю, засыпался, убьет он меня на месте. Ослаб я тогда сильно от голодовки, в чем душа держалась. Схватил я какое-то полено... Дальше, я так полагаю, рассказывать не стоит, друг мой, Аверьян.. Так-то... Ну, что же ты не бьешь меня?.. Защищаться я не буду, не к чему...

* * *

Аверьян широко раскрытыми глазами глядел на друга, не говоря ни слова. Он несколько раз раскрывал рот, только челюсти сами собой беззвучно смыкались. Оправившись, выдал:

— Так это ты... чортушка?..

— Выходит так, прятаться не хочу... Видишь, как тесен свет? Лбом, можно сказать, я о тебя стукнулся и отскочил... опять в пространство... За громом, кажись, не забуду этого дня. Бросился я тогда паутек, к речке. Бегу, что есть мочи, ноги в кровь о камни обил. Гнались за мною тогда, да улизнул я, на берегу в ракитнике спрятался. Ночь — глаз выколи. Лежу, задохся от бега, в небо смотрю. Там миллионы звезд ласково таково, да спокойно горят. А у меня глаза слезой застилают, сдержать себя не могу. Утром на соседнюю станцию пешком ушел, боялся опознать, — уж очень шинелишка на мне была приметная. Ве-

ришь, браток, совесть ведь меня совсем чуть не доканала, думал, погиб по моей вине человек. Сколько раз заявку на себя сделать собирался, да что-то удерживало. Все думалось, Аверьяна, может, найду, посоветуюсь, откроюсь ему... Вот и открылся. Но и радость мне!.. А как ты поступишь — я наперед со всем согласен... Хотя в угрозыск, хоть сам меня живьем в землю закопай, — пальцем не шевельну. А шкатулка — тыфу! Хоть бы и в век ее не было...

— История... — протянул Аверьян, с любопытством разглядывая свою деревяшку, точно видел ее впервые.

Когда вернулась Матрена с пивом, друзья сидели рядышком на сундуке, вытянув вперед свои деревянные, точно жерла орудий. Пескороев радостно улыбался, шмыгая носом, а Аверьян протирал свои глаза и сердито ворчал:

— Новый дом, чорт бы его побрал, а с потолка сыпется всякая дрянь...

— Проконопатить надо, занялся бы, — заметила Матрена.

— Сжечь его к чортовой матери, да уйти куда глаза глядят, — неожиданно заключил Аверьян.

— Да ты в уме? — удивилась Матрена. — Еще не пил, а уже порешь несуровицу.

Пескороев влюбленными глазами смотрел на своего найденного друга, улыбался солнечной, умиротворяющей улыбкой и, как нянька ребенка, на распев уговаривал:

— Э-ах, браток... тесен свет... по проторенным тропам люди движутся... Нет — нет, да и стукнутся лбами, аж искры из глаз посыпятся. Вот, как мы с тобой!.. Сложное дело — жизни!

УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ № 8.

В Систематическом Литературном Конкурсе могут участвовать все граждане Союза Советских Социалистических Республик, состоящие подписчиками «Мира Приключений». Рукописи должны быть напечатаны на машинке или написаны чернилами (не карандашом!), четко, разборчиво, набело, подписаны именем, отчеством и фамилией автора и снабжены его точным адресом. На первой странице рукописи должен быть приклеен печатный адрес подписчика с бандероли, под которой доставляется почтой журнал «Мир Приключений». **Примечание.** Авторами, состоящимися на премию, могут быть и все члены семьи подписчика, а также участники коллективной подписки на журнал, но тогда на ярлыке почтовой бандероли должно значиться не личное имя, а название учреждения или организации, выписывающей «Мир Приключений». Последний срок доставки рукописей — 15 февраля 1930 г. Поступившие после этого числа не будут участвовать в Конкурсе. Во избежание недоразумений рекомендуется посылать рукописи заказным порядком и адресовать: Ленинград, 23, Стремянная, 8. В Редакцию журнала «Мир Приключений», на Литературный Конкурс.

ОКОНЧАНИЕ КОНКУРСА № 4

Отчет и решение рассказа — задачи „ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ“

247 подписчиков «Мира Приключений» закончили работу над рассказом, переполненным всевозможными умышленными ошибками. 247 — число большое, если иметь в виду серьезность и сложность этой литературной задачи. Но цифра трудившихся над задачей и заинтересовавшихся ею — на самом деле гораздо выше. Множество писем сообщает нам, что опоздавшая выхо-

дом (не по нашей вине) книжка журнала с рассказом «Всадник без головы» оставила слишком короткий срок для работы, а местные условия помешали другой части читателей навести некоторые справки, без которых они не решились посылать свои решения незаконченными.

Яркая активность читателей нас чрезвычайно радует, а глубоко сознательное отношение к работе — ободряет. Многочисленные, однохарактерные письма, сопутствующие решениям, свидетельствуют, как хорошо понята цель и смысл задачи. Чтобы не загружать отчета, сделаем только три кратких выдержки:

Е. С. Т. (Геленджик) пишет: «... но главное, чем понравился мне рассказ, это — процесс его решения. Было очень интересно находить и исправлять ошибки, сделанные в рассказе нарочно, так как, проделывая это, я видел те самые ошибки, которые мы, пробуя писать, делаем очень часто и, что хуже всего, — совершенно не замечаем их. Решение задачи дало мне многое...»

Г. М. Р. (Каменск): «Для нас подобные задания очень полезны. Они приучают во-первых к критическому чтению и, во-вторых, наглядно показывают, что даже в самом маленьком литературном произведении должно быть все на своем месте. Мы, молодежь, очень часто страдаем простым, бессвязным набором слов...»

Гражданин О. Т. (Краснодар), жалуясь, что трудно доставать книги, заканчивает: «Как тут быть? Вот и приходится отказываться от участия в этих интересных и полезных конкурсах. Но я все же буду продолжать ради самой себя. Это такой незаменимый отдых среди кастрюль и тряпок. И я вторично приношу редакции (и никогда не устану повторять) теплую благодарность за ее заботы о нашем культурном отдыхе».

Здесь мы приводим в сжатом перечне все 166 умышленных ошибок, допущенных в рассказе. Читателю легко сверить каждое указание с текстом, напечатанным в № 2 «Мира Приключений» за этот год, а также со своим черновиком решения, и убедиться, чего он не доглядел. Рекомендуем и тем, кто почему-либо не прислал решения, проделать эту очень занимательную и все же полезную работу сопоставления шаг за шагом основного текста и публикуемых теперь поправок к нему. Решать задачу, имея готовые ответы под рукой, — ведь очень легко.

Перечень умышленных ошибок в рассказе «Всадник без головы».

1) Фряжско-Прияжской ж. д. — не существует. Название, однако, может быть использовано, как литературный прием. — 2) В Ялте злокачественных лихорадок не бывает. — 3) Если в среду 18, то в воскресенье не 21, а 22. — 4) Акопера в июне не работает. — 5) Собинов — тенор, а партия «Демона» — баритонная. — 6) Петров уехал 18 июня, а в начале говорится, что его отпуск — в июле. — 7) ...два дня, как уехал на Кавказ... — не два, а четыре (среда-воскресенье). — 8) Голубые глаза гостя... — Как она их увидела в полутемном коридоре? — 9) По какому же адресу переписывался Петров из Финляндии с Середой? — 10) В личном столе... — По воскресеньям Управление должно быть закрыто. — 11) Простите, уважаемая Софья Ивановна... — Откуда Середка узнала, что ее зовут Софья Ивановна? — 12) Попросила гостя пройти в комнату... — Раньше сказано, что он уже протиснулся в комнату. — 13) ...и расстались настоящими друзьями. — А дальше опять идет их разговор! — 14) ...обходительные манеры, вкрадчивый голос, женственность сублимной фигуры — ничего этого у гостя нет. Уже говорилось, что он гигант, груб и т. д. — 15) Сидя в театре и дожидаясь начала... Раньше говорилось, что С. И. очень спешила, боясь опоздать, да

с гостем просидела 2 часа и все-же пришла до начала! — 16) Засыпая, она слышала... — это в театре-то? Логически выходит так. — 17) ...жгучие, притягивающие глаза... Это голубые-то? — 18) ...видела мужа в костюме «Демона» и совсем без головы... — Как же узнала? — 19) ...а то он такой высокий... — Раньше говорилось, что Петров — коренастый. — 20) Детишки играли в песочке... — На трамвайной линии? — 21) ...к осени она сама должна стать матерью... — В мае поженились, в апреле познакомились. — 22) ...вчерашний блондин... — Раньше говорилось, что у него темные кудри. — 23) ...ни свет ни заря притащился, — ехидно ворчала Марьюшка... — Говорилось, что С. И. встала очень поздно, а Марьюшка — добродушна. — 24) С. И. вышла в коридор. — Значит следующая сцена и кофеинтие происходили в коридоре? — 25) Адрес Петруши — Ставрополь, а дальше?... — Откуда Середка узнала, что Петров уехал именно в Ставрополь? — 26) Середка — не пьет и не курит... — При первом свидании на С. И. пахнуло табаком и коньяком. — 27) ...совсем не видим солнца... — Раньше говорилось про сияющий день. — 28) ...сели у затопленного камина... — Это летом-то. — 29) Курили... — Ведь Середка не курит? — 30) Разговор о писателях, книжных сокровищах и любви к чтению. Руссо, Гюго, Золя и Мопассан — почти ничего никогда не читали. Жюль Симон пишет: «у В. Гюго не было

в доме почти ни одной книги, у меня их — 25 000». Мопассан уверял, что книги искажают действительность, обманывают ум и направляют его на ложный путь. Золя, по собственному признанию, был «менее всего библиоманом». Его более чем скромная библиотека состояла из скромных пособий и справочников. Золя говорил: «Только праздные люди, да лентяи имеют время читать что-нибудь». Руссо печатно заявил, что «ненавидит книги, которые учат людей говорить о том, чего они не знают». Такой же нелюбовью к книгам отличались из французов Шатобриан, Ламартин и Пьер Лоти. — 31) О Тургеневе. Тургенев, наоборот, был большой знаток литературы всего мира и отличался изумительной памятью (см. письма Г. Флюбера). — 32) ...долгое молчание, не нарушаемое ни единым звуком... — Это на трамвайной-то улице? — 33) ...руки без единого пятнышка... — А где-же ожог от щипцов? — 34) ...Середа поспешил переменить тему разговора... — Ведь они долго молчали? — 35) Какое на вас прелестное платье... — Она была полуодета, когда-же успела переменить платье? — 36) Слепая написала письмо. — Это мудро, особенно с не привычки. — 37) Ей тяжело было меня видеть. — Не только тяжело, но и невозможно. — 38) «Тайна Эдвина Друда» Диккенса — не окончена. — 39) Марьюшка, пальто и калоши. — Это летом-то? Кроме того — Марьюшка однокорая. — 40) «Современная утопия» — Уэлса, а не Мура. — 41) «Утопия» («De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia») — Томаса Мора, или — Моруса (род. 1480 г.), а Томас Мур — знаменитый английский поэт, родившийся в 1779 г. — 42) Есть не хотелось и С. И. стала читать, а потом идет сразу после обеда и т. д. — 43) Балет в пюне не работает. — 44) По понедельникам театры вообще не работают — день отдыха. — 45) ...Услыхала в прихожей незнакомые голоса... — Один незнакомый голос — Марфы С. — 46) ...значит, тезки... Какие-же тезки? Одна Марья, другая — Марфа. — 47) ...вязаный платок... — Летом? Кроме того, как они дотасили узлы и ребенка? — 48) ...аккурат в мае в Ялте с Петрушей обзаконились... — Прошел всего год ровно, а ребенку уже 6 месяцев. И уже говорит: агу! — 49) Эй, Дарьюшка! — Прислугу зовут Марьюшкой. — 50) ...Капот, как на заместительнице... — А та совсем уже в балет собралась! — 51) ...Краснорозей бабе... — Раньше говорилось, что гостя очень бедная. — 52) ...к полудню того-же дня... — А дело перед театром было. — 53) ...как флагами расцвелись пеленками... — Пеленки обычно белые, не цветные. — 54) ...в кабинете весело шумели два примуса... — ведь в кабинете заперлась С. И.? — 55) два примуса: с молоком и кофе... — Примусы обычно называются керосином. — 56) ...Голубой капот придавал румянец... — Следовало-бы — розовый капот. — 57) ...тут же в столовой занималась постиркой... — А примусы шипели в кабинете и плита не топились. Разве холодной водой? — 58) ...книжек из шкафа... — Значит,

книжный шкаф стоял в столовой? С. И. и Середа уже разговаривали о книгах в гостиной, где, значит, тоже стоял шкаф. — 59) Выплесни корыто... — Марьюшка однокорая и этого-то как раз сделать не в состоянии. — 60) Утоги переадались... — А где они грелись? Примусы заняты, плиту топить не вела. — 61) Ялтинской выдрой... — Было сказано, что она полненькая. — 62) И ее подлым змеенышем... — У выдры и вдруг — змееныш. — 63) раздавались яростные стуки с двух сторон... — с одной стороны стучала Марьюшка деликатно и совестливо, а не яростно. — 64) предполагающий к отдыху — пароход... — Причем здесь пароход? Петров ехал по жел. дороге. — 65) Вероятно от Сони есть уже письма... — Как они могут опередить поезд? — 66) Мы едем дальше, сквозным... — Ставрополь — конечная станция, ветка. — 67) В 15 верстах, в горах... — В Ставрополе нет гор. — 68) ...пароходик, сновавший по спокойной горной реченке... — По горным речкам пароходы не ходят. Горная речка не может быть спокойной. — 69) ...через полчаса высадились... — 15 верст в полчаса на пароходе не уедешь. — 70) ...В ложно-классическом стиле... — Такого архитектурного стиля нет. — 71) ...над барочным порталом... — Только что говорилось о ложно-классическом. — 72) «Mens sana sic transit»... — Нелепое сочетание двух латинских изречений: «Mens sana in corpore sano» и «Sic transi gloria mundi». Получается нелепица: «Здоровый дух так проходит». — 73) Петрову не понравился мрачный вид санатория... — Только что дачка была названа «кокетливой». — 74) Некто в халате... — Почему же Петров не обратился к заведующему? Некто — всего лишь санитар. — 75) ...не сюда попали... — Следует сказать — не туда попали. Петров попал именно «сюда». — 76) ...а здесь — виноград... — Ставрополь не виноградный город. — 77) Звонско-Бубенецкой ж. д. тоже не существует. — 78) ...поезд то же дорожно в город... — Он приехал на пароходе. — 79) Письмо от жены. — Когда оно успело дойти? Мы знаем, что в воскресенье она еще не писала, а в субботу, прибыл, вероятно, Петров уже в Ставрополь. — 80) ...Письмо было пространно... — Оно, как раз, очень коротко. — 81) ...за два дня истомилась... — Он уехал в среду, письмо могло быть написано в понедельник, значит 5 дней. — 82) Твоя единственная Соф.. — Откуда же она знает, что единственная? — 83) ...Он уже шевелится... — В апреле познакомились, в мае поженились, а в июне уже шевелится? — 84) Петров узнал почерк жены... — Каким образом? Какой почерк? — 85) ...Анибаловым проклятем... — есть Анибалова клятва. — 86) Селедке Марфушке... — Мы знаем, что Марфуша — полненькая и не может быть похожа на селедку. — 87) Ненавидящая Софья. — Было сказано, что телеграмма без подписи. — 88) ...Как пронзенный громом... — Молнией еще туда-сюда. — 89) ...спросил графин горькой... — Это на телеграфе-то? — 90) ...выяснить окружающую обстановку... —

Вероятно обстановку в Ленинграде и Москве? — 91) Петров перепутал адреса на телеграммах. — 92) ...вернусь первого сре-ду. — Если 18-ое в среду, то следующую среду будет 23-е, а еще в следующую 2-ое июля. А что он будет делать целую неделю? — 93) ...под Петровым завертелась земля... — А раньше она не вертелась разве? — 94) ... Или все остальное челове-чество... — При чем здесь человечество? Речь может идти лишь о Марьюшке, теще с тещей и жене. — 95) ...как львица с раз-метавшейся гривой... — У львицы гривы не бывает. — 96) ...Карающая Изид... — Ве-роятно, Немезида? — 97) ...из глаз сверкали молнии... — Вы когданибудь наблюдали по-добное явление? — 98) ...паром вырывалось дыхание... — Летом-то? — 99) ...я епархиаль-ную гимназию окончила... — Епархиальное училище. — 100) ...Крымская обезьяна... — В Крыму обезьян не водится. — 101) ...все стулья переломаю, как Александр Маке-донский... — Причем тут Александр Маке-донский? Он никакой мебели не портил. Неудачный перифраз известного выраже-ния Гоголя. — 102) ...Хлебните кофейку, успокойтесь... — Кофе — не успокоительное средство. — 103) ...Пищидь как устрица... — Устрицы не пищат. — 104) ...маринованный жолудь... — Жолудей не маринуют. — 105) ...ходячий насморк... — Если угодно считать за метафору, — считайте. — 106) ...одногла-зая камбала... — У камбалы всегда два глаза. — 107) ...Цезарь в Карфагене... — Ма-рий. — 108) ...Перекреститесь обеими рука-ми... — Кто же левой рукой крестится? — 109) ...об этой чахоточной Ятинской во-бле... — В Черном море воблы нет. Чахо-точной воблы вообще быть не может, ибо рыбы не имеют легких. — 110) ...Инквизи-тор, что от жены и от дитяти, как моло-дой месяц бегают... — Инквизиторы не же-нились, молодой месяц не бегают. — 111) ...Маяшковая шапка... — Летом милиция но-сит фуражки с белым верхом. — 112) ...этот самый опиум декретом отменен... — Такого декрета не было. — 113) ...гоните полтин-ник... — Давно уже берут рубль. — 114) ...Пожалуйте в участок... — Участков нет, есть отделения милиции. — 115) ...аснид по-лосатый... — И совсем асиды не полоса-тые. — 116) ...хари до ушей пияли... — Рты, вероятно? — 117) ...отжившим алиментом обзывали... — Элементом, вероятно? Впро-чем, это уже стало трюизмом. — 118) ...а в четвертых... — А где же в третьих? — 119) ...в околосок ихний... — Опять — отделение. — 120) ...в острог упрячу... — Острогов боль-ше нет, а есть дома заключений. — 121) ...на части колесуйте... — Полосуйте, веро-ятно, или — режьте. — 122) ...Сидят они на станции Кавказской... — Петров сидит в Ставрополе, а ст. Кавказская по главной ветке. — 123) ... Подала телеграмму Петро-ва № 2. — Петров пока имеется один, а телеграмм — две. — 124) ...сняла с головы косынку, прочла и уставилась на нее... — Крайне неясно: прочла-ли на косынке, или телеграмму, уставилась на телеграмму, или на Марьюшку? — 125) ...не дано мне разу-

меня по акушерской части... — Этого ни одна акушерка не скажет. — 126) ...выя-снится это лишь через 9 месяцев... — Сколь-ких же месяцев родится ребенок? По край-ней мере 11 — 12. — 127) ...опускаясь воз-ле кровати ребенка... — Разве кровать стояла в коридоре? — 128) ...плачущей Немези-ды... — Ниобен? — 129) ...всплеснула Марь-юшка руками... — У нее одна рука. — 130) ...который жил на телеграфе... — Кто же ему разрешил? — 131) ...с серебряными во-лосами... — С точно серебряными. — 132) ... сердце его остановилось и кровь замерзла в жилах... — Не может быть. — 133) ...я по-седел в одну минуту... — Откуда он знает, что точно в минуту? Вообще сразу посе-деть нельзя. — 134) ...вся «Иллиада» полна сетованиями на судьбу... — Во всей «Ил-лиаде» слово судьба (τοῦτο-τιος) не встре-чается ни разу. — 135) Миокардит, пери-кардити воспаление околосердечной сумки — суть одно и то же. — 136) ... Час назад, иля на телеграфе... — Раньше говорилась, что он жил на телеграфе. — 137) ...моя во-лосы были черны, как ночь... — В начале его называют белокрысым. — 138) ...Вы к автопегии никогда не прибегали? Йах... — Такого медицинского термина не суще-ствует. — 139) ...Все признаки афазии... — Потери речи не заметно. — Откуда он взял. 140) ...все признаки гиперестезии при об-щей анестезической конъюнктуре... — Чи-стейшая бессмыслица. — 141) ...как истин-ный сангвиник... — Раньше говорилась, что он флегматик. — 142) ...многоцветными тра-вами... — Трава всегда одного цвета — зеле-ного. — 143) ...эта стриженная головка... — Раньше она плакала с распущенными во-лосами. — 144) ...Совсем буква С... — Луна похожа на С на ущербе, в последней чет-верти, в новолуние она похожа на). — 145) ...румяное личико С. И... — только что ему нравилась ее бледность. — 146) ...к морю, шумевшему вдали... — В Петергофе шума моря не слышно из парка. — 147) ...Радуга над фонтаном... — Бывает, когда светит солнце, а ведь солнце зашло уже. — 148) ...Море светилось... — Зачем ему светиться? В следующей фразе говорится уже о ма-товой дымке. — 149) ...Как чайки, распу-стившие паруса... — У чаек крылья, а не паруса. — 150) ...Берег был пустынен... — В Петергофе, летом, только что после за-ката солнца, в хорошую погоду — неве-роятно. — 151) ...Любовались на свое отра-жение в воде... — Много она увидит. — 152) ...визли глазами в одинокую фигуру... — Выноклем? — 153) ...поблдевшими губами... — Можно ли видеть в сумерки, как бле-деют губы? — Да, пожалуй, и удильщика трудно разглядеть. — 154) ...Заговорил сбив-чиво и взволнованно... — Из его тирады видно, что он говорит логично и спокойно. — 155) ...среди необъятного морского про-стора... — Это в Петергофе-то, у берега — необъятный морской простор? — 156) ...За-литого лунным светом... — Откуда? От сер-ника? — 157) ...он так и сделал: потребовал 2 бутылки пива... — Кумыс и пиво — две вещи разные. — 158) ...и погрузился в за-

быть... — Быть может — в вагон? Так легкое. — 159) ...жены у тестя не было... — А Марья Ивановна, о которой говорится в телеграмме? — 160) ...вся перазбериха содалась в результате и т. д. — Далеко не вся. — 161) ...Слома голову помчался в Ленинград... — Это как поезд повезет, и есть противоречие с «несколько успокоился». — 162) 31-го июня... — Не бывает. Это будет 1-ое июля. Где же он путался 13 дней? — 163) ...на платке отпечатались черты его лица... — Невозможная фотография. Это

была просто грязь. — 164) ...вспомнил о лечении кумысом и завернул в пивную... — В пивных кумысы — нет. — 165) ...на его опасливый звонок... — Это в пивной что-ли? — 166) ...а мы вас завтра ждали... — На основании чего? Он телеграфировал, что в крайнем случае будет в среду 1-го. 1-ое должно быть во вторник. Если мы говорим, что он приехал 31-го июня — это и есть 1-го июля. Значит, он приехал 1-го, во вторник.

Безупречных решений не поступило ни одного, так что Редакция имела бы право считать Конкурс № 4 не состоявшимся. Но желая поощрить активность читателей и их стремление к саморазвитию, Редакция выдает все обещанные премии, которые распределяются в следующем порядке:

I-я ПРЕМИЯ (25 рублей) присуждена ИННЕ ВАСИЛЬЕВНЕ СОЛОВКИНОЙ (Таганрог), не открывшей 44 ошибки.

II-я ПРЕМИЯ (25 рублей) присуждена ТИНЕ БЕРНАРДОВНЕ КОЛОКОЛЬНОЙ (Ростов н/Дону), не заметившей 45 ошибок.

III-я ПРЕМИЯ (полное собрание сочинений А. И. Куприна в переплетах) присуждена ЕВГЕНИЮ ИОСИФОВИЧУ ШВЕДЕРУ (Днепропетровск), не нашедшему 46 ошибок.

IV-я ПРЕМИЯ (полное собрание сочинений А. С. Грибоедова в переплетах) присуждена ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЗАМБРИЦКОМУ (Ленинград), пропустившему 47 ошибок.

Кроме премируемых, в нисходящем порядке достоинства присланных 247 решений, отмечаем следующие 84 решения:

Н. К. Овденко (Ленинград). — В. И. Метт (Новороссийск). — В. М. Книжников (пос. Катышки). — Н. И. Железников (Москва). — А. И. Курков (Ленинград). — Н. К. Розеншляд (Майкоп). — Т. А. Ершова (Новочеркасск). — С. В. Степанов (Москва). — Я. А. Готов (Ростов н/Дону). — О. М. Крамаренко (Харьков). — Б. В. Смирнов (Одесса). — П. И. Митрофанов (Вязьма). — М. Я. Жеваго (Харьков). — А. Раздольный (Москва). — Б. Бажанов (Тверь). — И. Лидин-Мохов (Москва). — Н. Н. Птицын (Детское Село). — Е. С. Толмачев (Геленджик). — Н. М. Федоров (Минск). — А. Саложников (Иркутск). — В. Н. Афанасьев (Пенза). — И. М. Кириллов-Губецкий (Ленинград). — О. А. Тихвинская (Краснодар). — М. М. Мошковиц (Ленинград). — Н. Ладонко (Кременчуг). — Г. Г. Геннелъ (Красногвардейск). — М. Е. Орлова (Муром). — С. В. Макаров (Баку). — В. Ф. Макаров (Ленинград). — М. А. Чакали (Москва). — В. Ф. Людницкий (Николаев). — А. Я. Цокурени (ст. Брюхоредкая). — Д. А. Богачев (ст. Быково). — В. В. Иванов (П/о Бельбек). — И. М. Бойе (Ленинград). — Е. И. Кышико (Харьков). — В. Н. Петров (Владикавказ). — Н. Н. Кречетович (Ленинград). — В. В. Ижицкий (Тирасполь). — И. Финкельштейн (Ленинград). — О. И. Колядинская (П/о Краснов). — И. А. Титаренко (Краснодар). — В. Т. Иванов-Потоцкий (Москва). — В. Н. Иванов (Красновидово). — Р. Ф. Скворцова (Ново-Воронцовка). — М. И. Бронзов (Ленинград). — В. О. Гребенщиков (Москва). — Н. В. Поворзник (Бобруйск). — Т. А. Покровская (Ярославль). — К. П. Лишин (Чита). — И. В. Мальцев (Севастополь). — Е. А. Суворина (Бобров). — М. Ф. Ильич (Андреевка). — И. Ч. Гросс (Ташкент). — И. Ф. Евильева (Ленинград). — Ю. К. Иванова (Прииск Кр. Урал). — М. Ф. Осипов (Кикерино). — А. В. Новиченко (ст. Тихоредкая). — А. П. Лисовский (Баку). — Т. П. Линдваль (Томск). — Д. М. Власенко (105 верста МКВ ж. д.). — В. С. Жукин (Иваново-Вознесенск). — Н. С. Фортат-Ивановская (Орехово-Зуево). — В. В. Морозов (Казань). — Н. И. Галкин (Тейково). — А. В. Пономарев (Качалинская). — С. И. Ченмарев (Москва). — В. В. Арефьев (Камышлов). — И. К. Котенев (с. Медведка). — Н. А. Любимова (с. Елохово). — В. И. Лапин (Новгород). — В. К. Тертов (Москва). — Е. В. Герцин (Ульяновск). — А. П. Наймушина (Иркутск). — А. Ф. Литвинов (с. Дмитриевское). — Г. Е. Шугай (Краснодар). — Г. Д. Мефедова (Житомир). — Г. С. Бурнов (Воткинский завод). — И. С. Березовский (Киев). — Л. В. Корженевский (с. Бершаповка). — А. В. Фадеев (Ленинград). — В. В. Иванов-Питерский (Киев). — С. С. Коновалов (м. Новый-Буг). — Л. Я. Иванов (Иваново-Вознесенск).

Остальные 159 решений не заслуживают упоминания, как недостаточно проработанные.

В. Б.

ЦЫГАНЕ

Очерк КОНРАДА БЕРКОВИЧИ

Иллюстрация Б. МАККОРМИКА



ОТ РЕДАКЦИИ. За последние годы особенно много цыган перебралось в СССР. В окрестностях больших городов часто можно встретить целые обозы крытых кожой тарантасов и телег, переполненных смуглыми владельцами их и домашним скарбом. И не только юг привлекает цыган. Они охотно кочуют, разбивают таборы и селятся и в Луге, и в Детском Селе, и с некоторой оседлостью, в которой есть все таки нечто таборное, устраиваются и в самом Ленинграде.

Их нравы и быт иногда попадают в отдел судебного репортажа и хроники газет. Они мало ассимилируются с коренным населением, и живут в своем замкнутом кругу. Мы мало знаем их и по большей части сталкиваемся, когда цыганки назойливо предлагают погадать, а при отказе — просят милостыни.

Но вот с апологией цыган, как племени, выступил теперь талантливый социалистический писатель Америки Конрад Берковичи. Недавно появилась серия его рассказов, посвященных цыганам и переведенная на русский язык, а в последнем номере американского журнала Берковичи дает новый очерк, идеалистически рисующий племя, в этнографическом отношении до сих пор таинственное и неразгаданное. С этим очерком наблюдательного автора, жившего среди цыган, мы и знакомим читателей.

На языке цыган, — говорит Конрад Берковичи, — болезнь и печаль обозначаются одним и тем же словом: печальный человек — больной человек. Счастливый человек — здоровый человек. Если печаль дочь всех болезней, — рассуждает цыган, — то веселье, конечно, дочь здоровья. Поэтому,

вместо того, чтобы звать доктора, цыган зовет лучшего скрипача или окружает себя самыми невероятными танцорами, или слушает самые веселые рассказы. — И я, годы проживший среди цыган, даю слово, что видел больше исцелений таким родом врачевания, чем лекарствами.

Такой народ, как цыгане, рассеянный по поверхности земного шара, и так сильно отличающийся по своей жизни от обитателей тех стран, через которые он проходит, должен иметь свои законы, чтобы сохранить свою индивидуальность. Законы эти — устные, потому что у цыган нет ни собственной литературы, ни алфавита, — различны у каждого племени. И все же цыгане Испании, Балкан, бродячие цыгане Англии и странники Америки говорят между собой о „leis pralo“, законе цыганского братства, которому покоряется всякий смуглый брат или сестра.

Отношение цыган к законам страны, в которой они находятся, так отличается от

их отношения к собственным законам, что это требует объяснения. Цыгане считают, что законы белого человека, не должны строго соблюдаться, что они нечто вроде игры, которой забавляется белый человек. Когда цыган попадает в сеть законов белого человека за воровство или за другие преступления, друзья ему сочувствуют, потому что ему не повезло; его не изгоняют из племени за бесчестность.

Но какая разница в отношении цыгана к своему собственному закону. Когда цыган провинится перед своим племенем, цыгане всего мира считают его изгнанником. Он навеки отмечен тогда печатью Каина.



Ни один дыган, где бы ни был, не выходит из кругозора Manlaslo, тайного судьища. Круглый кусок де-

рева со вбитой в него иголкой, положенный неизвестной рукой у входа в палатку или на сиденье повозки вызывает дыгана на судилище. Если дерево некрашеное, то вызывает мужчину. Если оно выкрашено в красный цвет, оно вызывает женщину.

* *

Manlaslo может вызвать женщину и обвинить ее в неверности, даже если муж ее и не приносил на нее жалобы. Когда дыганка получает такой вызов, она идет к ближайшей на востоке реке и там находит укaзaния, где ее ждут судьи. Она имеет право защищаться от обвинения. Судьи с закрытыми лицами. Предводитель племени всегда готов помочь обвиняемой, но горе дыганке, пытающейся спастись от наказания ложью. Если провинившийся — женщина, она никогда не вернется в свою палатку. Когда приговор вынесен, ее заставляют тут же уйти от своих и притом в направлении, противоположном тому, которое избрало племя.

Изгнание из всякого дыганского племени более жестоко, чем смерть. Дыган так создан, что лишить его возможности жить среди своего народа равносильно погребению его заживо. Изгнанные так дыганы никогда уж не войдут ни в какое другое дыганское племя, как бы удалена ни была страна, в которой изобличили его вину. Я встречал таких дыган в Европе и Америке. Они точно рыба, лишенная воды.

Все, изучавшие жизнь дыган, всегда воспевали чистоту и верность дыганки. На Балканах замужней дыганке сделают строгий выговор и ее накажут, если она хотя бы только вызывающе посмотрит на другого дыгана. Белый человек гораздо строже

казнит женщину, отдающуюся за деньги, чем ту, которая не может устоять против соблазна. Не так смотрит дыган. Главная причина строгих наказаний за неверность — легкость развода у дыган.

Если мужчина перестанет любить свою жену, он может развестись с ней, обратившись к предводителю племени и заявив ему, что он не хочет больше делить с ней палатку. То же самое может сделать и женщина. Нет ни социальных, ни экономических причин, из-за которых продолжав бы жить вместе люди, не любящие больше друг друга. Если есть дети, о них будут так же заботиться, как если бы родители продолжали жить вместе. Принимаемая во внимание более или менее коммунистический образ жизни дыганского племени, дети едва ли даже почувствуют разницу.

Брачные законы дыган не везде одни и те же. Дыганы признают виновным или невиновным по законам его собственного племени, а не по законам того, с которым он в настоящее время находится. Самый большой проступок — это измена своему племени.

Цыганские племена в Турции и на Балканах полигамны и у некоторых мужей по двенадцати и больше жен и все давали клятву в верности ему. В Сербии, в Сока Банга, женщина выбирает мужчину. Жениха покупает отец невесты. Если она не желает ограничиться одним мужем, она может купить столько мужей, сколько позволяет отцовский кошелек, или сколько ей разрешит отец.

Неверность — одно из редчайших преступлений, совершаемых дыганом или дыганкой. Страстный темперамент, почти неслепая привязанность к детям, не дают времени мужу и жене видеть недостатки друг друга.

Несколько лет назад я встретил недалеко от Нью-Йорка маленькое, жизнерадостное цыганское племя. Это были английские цыгане. Одна из девушек, черноглазая Тшай, каким то таинственным образом научившаяся читать, декламировала вслух популярные стихи, начинавшиеся так:

— Табак нечистая трава; я люблю его.

Цыгане вопили от удовольствия. Другие девушки указывали на молодую влюбленную парочку и произносили на сотни ладов:

«У Джона Кобра переломлен нос, но я люблю его».

Мужья указывали на жен:

— Ее волосы седы, нос короткий, но я люблю ее.

Я спрашивал себя: вызывали ли когда-нибудь эти невинные стихи столько веселья. Величайшая тайна цыган, их ключ к счастью, это постоянная готовность ловить всякую мелочь, над которой можно посмеяться. Цыгане живут, чтобы смеяться, любить, петь, плясать и странствовать. Несколько счастливей были бы мы, если бы мы умели так легко смеяться!

Цыгане считают, что причина болезней только людская небрежность. Заболеть — значит совершить преступление перед самим собой. Сила боли, от которой страдает человек — только наказание за преступление. Поэтому больной человек не вызывает сочувствия. Цыгане не верят в заразные болезни и смеются над микробами. Они едят пищу, которая отравила бы другого человека, но едят только, когда голодны и когда веселы. У них нет определенных часов для обеда и завтрака. Во время еды цыгане всегда поют и смеются. Они верят, что мысли человека отравляют еду. Печаль — источник всех ядов, — говорят они, — а радость превращает всякий отравленный кусок в здоровую пищу.

На Балканах, в южной Франции, в Англии цыган заставляли ухаживать за больными и хоронить их во время холеры и чумы. Они легко и охотно исполняли возложенные на них обязанности и были единственным народом, к которому не приставали эти заразные болезни. В благодарность

за такие услуги белолицые частенько сжигали цыганок, как ведьм, потому что они, соприкасаясь так близко с больными, не заражались.

Некоторые утверждают, что кровь цыган не принимает заразы и что это свойство было ими приобретено в далекие времена в Индии. Тут заразные болезни истребляли население в течение многих столетий. Цыгане — выжившие потомки тех туземцев, которые каким-то неведомым образом были защищены от болезней, поражавших Индию тысячи лет назад.

Другая теория, такая же приемлемая и научная, говорит, что образ жизни цыгана на открытом воздухе, на солнце и на ветру и его вера в то, что он не может заразиться, и застраховывают его от болезней. Но когда цыгане устраиваются оседло в городах, они первые становятся жертвами заразных болезней. Цыгане, живущие оседло и вдали от природы, теряют свою жизнерадостность, становятся печальны, а печаль — мать всех болезней.

Кто знает, насколько полезнее было бы для многих больных забавное представление, чем бутылка лекарства! Если печаль — мать болезней, то веселье — мать здоровья.

Современная наука все больше склоняется к признанию этой цыганской истины. Болезнь часто бывает вернее психологическая, чем физиологическая.

* *

Путешествуя с семьей по Румынии, я встретил цыганское племя, раскинувшее по берегу Дуная желтые, зеленые, красные, и голубые палатки. Дети и скот добывали себе пропитание, как умели. Взрослые цыгане все работали на полях у крестьян. Иногда один или оба родителя возвращались на ночь в палатку, но чаще они слишком уставали и спали в поле, зарываясь в кучи сена или подкладывая под голову среднюю пшеницу.

В полдень мы попали на молотью. Огромная английская молотилка редела и вышлепывала мякину и пыль. С полдюжины



цыган подавали вилами стоявшим наверху молотилки женщинам тяжелые золотистые снопы. Волы увозили на телегах раздувшиеся мешки, полные пшеницей. Крестьяне работали молча. Цыгане не переставали болтать, пели и смеялись.

Когда мои глаза проникли сквозь облако пыли, я увидел на верху машины молодую цыганку повидимому в последнем периоде беременности. Я упрекнул хозяина фермы, что он позволил женщине делать такую тяжелую работу.

Он улыбнулся.

— Мне безразлично, сказал он, — кто исполняет именно эту работу. Я панял цыган убрать хлеб и молотить и они сами распределили между собой работу. Они знали что делали, когда поставили женщину там на верху, где ей приходится низко склоняться и поднимать над головой снопы. Попробуйте вмешаться и вы увидите, что произойдет.

Она едва кончила говорить, как женщины помогли сойти с машины. Она, повидимому, страдала. Я обратился к женщинам из нашей компании, чтобы они пришли ей на помощь. Но цыгане не допустили ничего вмешательства. Старуха увела будущую мать за стог сена. Цыгане бросили работу и принялись петь, плясать и производили невыносимый шум. Два часа спустя, когда молотилка снова была пущена в ход, молодая цыганка сидела у стога сена и шила мешки. Рядом с ней в гнездышке из золотистой соломы лежал комочек коричневого мяса и пробовал свои здоровые легкие.

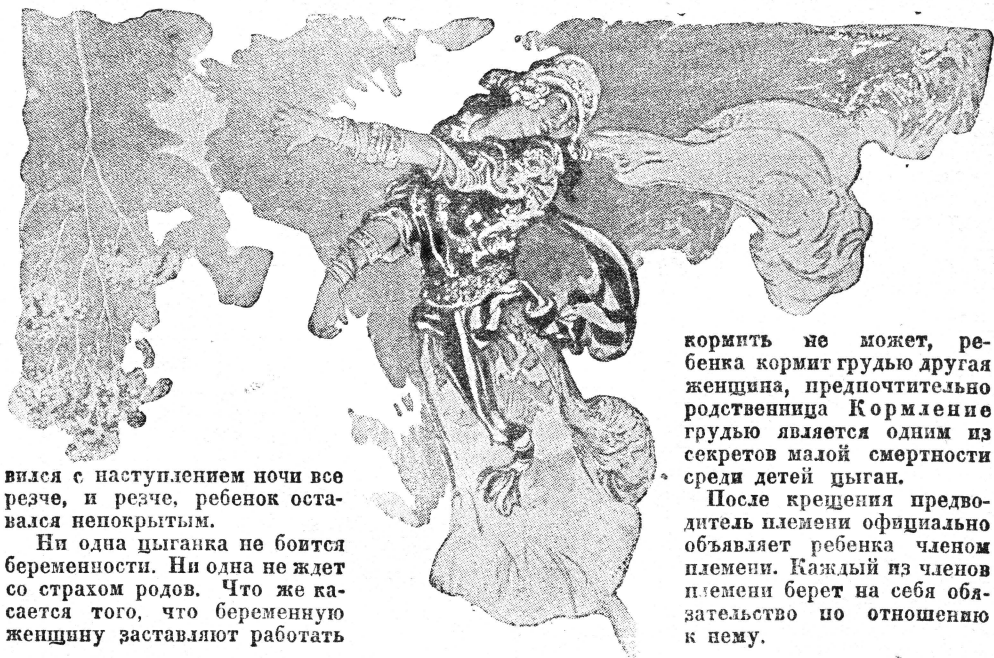
На закате солнца обнаженное смуглое дитя стало центром большого круга. Мать уложила спать на соломе. Мужчины и женщины праздновали. Хотя ветер стано-

до последней минуты, то и современные врачи не проповедуют больше бездеятельности будущей матери. Но надо еще сказать, что цыгане называют беременную женщину прекрасной и говорят, что женщина никогда не бывает так прекрасна, как тогда, когда ожидает ребенка.

Какой отец или мать допустят, чтобы только что родившееся дитя оставалось всю ночь обнаженным на открытом воздухе в то время, как дует резкий северный ветер? Но ребенок, родившийся от родителей, живущих постоянно на свежем воздухе, и судьба которого также жить под снегом, ветром и солнцем всех климатов, закаляется для этой жизни с первого часа рождения. Начинать с защиты ребенка от всех этих условий, с которыми он будет встречаться всю жизнь, значит ослабить его. Если он недостаточно крепок, чтобы перенести эти условия, лучше, чтобы он умер. Но я могу поручиться, и другие, жившие среди цыган, сделают то же самое, что детская смертность у цыган ниже, чем в Америке, Германии, Франции или Англии.

На третий день после рождения ребенка венгерские цыгане «крестят» его. Они просто держат ребенка над маленьким костром и это, вероятно, остатки первобытного поклонения огню. Румынские цыгане, выкупав впервые ребенка, смазывают его заячьим жиром и гусиным жиром. Предполагается, что заячий жир защитит ребенка от жары, а гусиный от холода.

Первые сорок восемь часов своей жизни цыганское дитя принадлежит племени. После этого его отдают матери, которая кормит его грудью по крайней мере два года. Цыганка предпочтет увидеть своего ребенка мертвым, чем вскармливать его «на бутылке». Если мать больна и сама



вился с наступлением ночи все резче, и резче, ребенок остался непокрытым.

Ни одна цыганка не боится беременности. Ни одна не ждет со страхом родов. Что же касается того, что беременную женщину заставляют работать

кормить не может, ребенка кормит грудью другая женщина, предпочтительно родственница. Кормление грудью является одним из секретов малой смертности среди детей цыган.

После крещения предводитель племени официально объявляет ребенка членом племени. Каждый из членов племени берет на себя обязательство по отношению к нему.

— До этого времени, — с гордостью говорит предводитель, — я был предводителем ста сорока двух людей. Теперь я предводитель ста сорока трех. — Ста сорока трех — выкрикивает каждый дыган. — Нас сто сорок три человека.

Что бы ни случилось с родителями, ребенок этот никогда не будет нуждаться в пище или крове. Никогда не может быть, чтобы дыганского ребенка в одной палатке кормили хорошо, в то время, как другой ребенок, в другой палатке, голодал бы.

* * *

Цыгане не могут понять, как это двое людей, никогда страстно не любивших друг друга, могут жить вместе. Так же трудно им понять, почему люди, разлюбившие друг друга, продолжают жить вместе. Каждый дыган твердо уверен, что дети, родившиеся от родителей, не влюбленных друг в друга, рождаются калеками или умственно недоразвитыми. Здоровье и красота ребенка, по убеждению дыган, зависят всецело от родовых условий.

Когда дыган печален, он никогда не спит в одной палатке с женой. Когда дыган теряет мать или отца, он на сорок дней разлучается с женой. Возвращение в семейную палатку празднуется так же весело, как и сама свадьба. Одежда и личные вещи умершего цыгана уничтожаются.

Цыгане с виду одеты в лохмотья, но часто носят самое дорогое белье под верхней одеждой. Эта манера одеваться символизирует их презрение к внешнему миру, большое уважение к своему телу и необычайную гордость.

Прежде, чем заключено брачное соглашение, родители обеих сторон раздевают молодых догола и осматривают их кожу. Много браков расстраивается из-за грубости кожи невесты или жениха, или из-за каких-нибудь недостатков ее. Самая важная часть приданого дыганской девушки состоит из сундука, полного тончайшего полотна и шелка. После того, как жених осмотрел наряды невесты, ее ведут осматривать его сокровища.

Таможенные чиновники часто бывают поражены, когда осматривают багаж эмигрирующих дыган, одетых в изношенное платье, и находят в их сундуках богатые ткани, которые ожидали бы встретить только в багаже людей состоятельных.

* * *

Среди других забытых тайн Европы существует тайна дыганской церкви Морской Марии на юге Франции, возле Арля, на Лионском заливе. Каждый год за последние триста или четыреста лет, цыгане Европы приходят вспоминать свою тайну. 23 Мая они подъезжают к маленькой приходской церкви семьи, родами, племенами и заполняют дорогу и дюны своими палатками, лошадьми и повозками. Первую ночь они проводят в пении и в рассказах. Над окружающими деревнями стелется дым сотен лагерей. 24 мая они танцуют в маленькую

церковь в бесконечной процессии, сияют на образ своей святой и выходят со сжатыми губами, точно только что поклялись сохранить какую-то великую тайну.

Маленькая каменная церковь — очень старая. Каменный алтарь покрыт фольгой и простые деревянные скамьи теснятся в пещере, под алтарем. Над алтарем возвышаются три Морские Марии, высеченные из камня. Одна Мария — Иаковлева; вторая — Мария Саломея, а третья Мария — Сара. К ней то и приходят дыгане. Что они ей говорят? Почему они приходят взглянуть на нее, только на нее? Я не раз присоединялся к такому паломничеству, но никогда не мог уловить или понять, что происходило на моих глазах. Тайна тайн!

На третий день их уже нет. Ни следа не остается от их лагерей; не остается ни одного дыгана. Остальное время дыгане держатся далеко от маленькой деревни, где стоит церковь с цыганской Морской Марией. Ни один европейский дыган никогда не раскрыл этой тайны. Ни один никогда не раскрыл и не раскрывает причины ежегодных посещений деревни и извилины Лионского залива.

Это ежегодное собрание на юге Франции не является единственной встречей дыган. Для дыган дело обычное распространять в течение месяцев весть о собрании и потом устроить где-нибудь большое сборище. В Румынии цыгане собираются каждый год перед маленьким монастырем в Карпатах и остаются здесь семь дней. Несколько лет назад на Лонг Айленд состоялось большое собрание дыган.

Такие первоначеские сборища имеют большое значение для бродячего народа. Цыгане не только знакомятся таким способом друг с другом, но тут же сообщают сведения о дорогах, а деревни и города отмечают, как терпимые и нетерпимые по отношению к смуглым братьям. Горе дыгану, давшему своим единоплеменникам неверные сведения, даже если это и не было сделано умышленно. Я знаю дыган, которых изгнали из их племени за такую небрежность. Точная информация — первое и величайшее достоинство. «Я не думал сделать дурно», — не является извинением перед дыганским судищем.

* * *

Недавно молодой дыган скрипач появился в Америке при трубных звуках рекламы. Его имя предшествовало его появлению. Его антрепренеры поселили его в одном из лучших отелей города. Но великий человек проводил ночь на полу пустого склада, на Ист Сайд, где разместились его единоплеменники.

Молодой скрипач встретил красавицу артистку и влюбился в нее. Он не сказал ей, что он дыган, а дал ей понять, что он индус. Когда родители его и его племя узнали, что он хочет жениться на белолицей женщине, они одели белые одежды — траур дыган. Молодой дыган — был сын

предводителя, племя которого гордилось тем, что сохранило расовую чистоту через все века скитаний. И несмотря на это, чтобы помочь молодому человеку жениться на избранной им женщине, племя разорилось, продав все и купив молодому человеку автомобиль и наполнив золотом его карманы. Они делали все это с тяжелым сердцем, но с твердым убеждением, что любовь есть любовь. Артистка никогда не узнает происхождения своего мужа. Она никогда не узнает, откуда все эти деньги, которые он так щедро тратит на нее.

Однажды утром все племя собралось вокруг отца и матери молодого скрипача, сидевших в центре. Немного раньше полудня у входа появился молодой человек, одетый, как индус. Цыгане поникли головами. Они все еще надеялись, что что ни-

будь произойдет в последнюю минуту. Сам отец произнес теперь слова изгнания: сын его, его дети и дети его детей изгонялись из племени. Но после этого старик сказал своему народу:

— Радуйтесь! ибо сын мой нашел большое счастье. Он знал, что навеки потеряет дружбу своих братьев и сестер и близость к отцу и к матери. И все таки, так велика была его любовь к этой женщине, что он пожертвовал всем, тщательно взвесив свою любовь и нас на весах жизни.

Цыгане сразу сбросили свои одежды и принялись петь и плясать, счастливые тем, что один из них нашел большое счастье, хотя это счастье, и огорчало их так сильно.

Где еще можно встретить такое глубокое понимание в соединении с такой исполненной достоинства терпимостью!



Б. П. НИКОНОВА

Иллюстрации И. КАРПОВА

БАНДИТЫ

...Глинистый, размытый Волгой берег. Высокая гора, на которой скрывается невидимый снизу город. Бесконечная крутая лестница вьется уступами вверх.

Вереница пассажиров с чемоданами, котомками, узлами, вышла с парохода и медленно тянется к лестнице. Первые уже забрались на лестницу и восходят по ней куда-то на самое небо. Другие еще плетутся гуськом по берегу. За ними плетется свинья, которой все равно, куда ни идти.

А за свиньей бреду я. Мне тоже все равно, куда ни идти.

Мне нужно на этой пристани пересесть на другой пароход. Но пароход еще не скоро, и приходится где-то и как-то скоротать время.

Лестница привела не на небо, а в пивную. На самом скате горы расположился кокетливый свежесрубленный домик с точеной

верандой, украшенной свежей зеленью еловых веток, и с вывеской «Красавица».

В углу спал перед пустыми бутылками пьяненький грузчик. В другом углу, над лестницей, горячо спорили о ценах на хлеб двое деловых людей в засаженных картузах и с красными потными лицами. У дверей за столиком сидел молодой парень в парусиновом запачканном балахоне и высокий красивый мужчина с черной бородой и южным типом лица. Он был в белом переднике и нарукавниках. При моем появлении он встал и, даже не спрашивая, что мне нужно, принес и поставил предо мной бутылку пива и стакан. Это был, очевидно, хозяин «Красавицы».

— Ну, и что же? — спросил он парня, снова подсаживаясь к нему: — Судили тебя?

— Не меня одного! — обиженно возразил парень: — Нас четверо было. Что ж с того, что судили? Судить-то, пожалуй, не больно мудро: взял за шиворот да и все! Да ты



сначала
сообразил, кого
судить-то надо?
С такого человека,
который выпивши и
не в себе, и спрашивать
нечего! Ты спрашивай с Центроспирту!
Вот, с кого!

— С больной головы на здоровую! —
усмехнулся хозяин: — Пьянствуете, а едите
на других!

— Судить в этом деле надо Центроспирт.
Он тут главный, а вовсе не мы. Мы что?
Деревенские, темные, живем все одно, как
под тулупом. И без того глупы, а коли
в Центроспирте побываем, так уж и спра-
шивать с нас нечего!

— Значит, выпито было! — резюмировал
хозяин: — Ты так прямо и скажи покороче.
А то привязался к Центроспирту. Центро-
спирт свое дело понимает! Что на него
сваливать? Сами не ребята!

— Ты молчи! — прервал парень: — кто
рассказывает-то? Ты или я?

— Ну, ты, ты! Ясное дело, ты!

— Ну, а коли я, так не мешай, а слушай!
Ну, вот, после Центроспирту мы четверо —
значит, я, Анпадистов, потом Апрелев,
потом Грызъ, потом Селиванов Гришка
пошли в Подновье. Накануне Петра и
Павла: у нас там престол. И родители наши
там. Мы к родителям пошли повидаться.

— У вас в городе работа, что ли, была?

— Работа. Мы сезонники. Мalaria.

— Ну, malaria известные пьяницы! — за-
метил хозяин.

Анпадистов строго поглядел на него:

— И другие народы бывают пьяницы,
не один malaria!

— Ну, ладно! — согласился представитель
«другого народа»: Рассказывай!

— Ну, выпили это мы и идем из города.
Хорошо идем, благородно, прилично. Ника-

кого хулиганства! А уж темно стало. Заве-
черело!

— Небось песни орали?

— Песни мы играли действительно: мы
веселые были, выпивши. Ну, только идем
хорошо, прилично. А Грызъ вдруг и гово-
рит: «Ребята», говорит: «На евтом самом
месте сто лет назад купцов завсегда гра-
били»!

— На каком месте?

— Да так, местечко такое есть: мосточек
маленький и взвозок кверху. Мы через мо-
сточек переперли, а вверх неохота подни-
маться. Малость ослабели. Сядем, мол, на
травку, покурим! А уж совсем стемнело.
Кусты кругом будто разбойники какие
черные притулились. Итица какая-то
крыльями замахаала, пролетела. Дерево на
горке руки растопырило, будто звезды на
небе ловит. И опять Грызъ насчет купцов
разговор завел. Так зря, язык чешет...

— Как же вы разговаривали-то? — спросил
хозяин: — Языки-то еще работали?

— В полной мере! А вот с головами
у нас стало неладно! Тут-то на нас эта
самая дурь и нашла! Грызъ свое мелет
о купцах, а Селиванов Гришка вдруг и
ляпни: «А что, ребята, давай разбойниками
представимся! Поиграем!»

— Эка, дурачье! — не выдержал один из
деловых людей в картузах, прислушивав-
шийся к повествованию: — Вот, остолопы!

— Апрелев — он у нас самый глупый
был — продолжал рассказчик: — тот так и
взвился! «Давай, ребята, поиграем какого
дурака! Спрячемся!»... Ну, сейчас спрятались
мы в кусты и сидим ни-гу-гу! И вдруг это
таракит телега!

— Ну-ну! — не выдержал картуз, забыв
о деловом разговоре.

— Ну, едет телега, попридержалась на
спуске. А он идет за телегой, языком
щелкает, посвистывает на лошадь. А в те-
леге товар: ящики какие-то, мешки... Ну,
мы тут как выскочим на него! Заорали,
засвистали, как есть разбойники! Ну, ко-
нечно, только поугагать хотели, побаловать-
ся... Пьяные были, несерьезные... А он-то
взаправду перепугался. «Ну вас к чорту!» —
кричит: «Берите все, окайные, только жи-
вым оставьте!» Повыкидал ящики, на-
стегал лошадь, да на взвозок. Только его и
видели!

— Вот, дурак! — сказал хозяин: — Да я бы
на его месте...

— Нет, брат, дураки-то мы оказались! —
грустно промолвил парень: — А он-то умный
был! Ты дальше-то слушай! Он укатил,
а ящики лежат. Не знаем теперь, что
с ними делать? Апрелев и говорит...

— Это который самый глупый-то?

— Он самый! Да мы все были довольне
одуревши, не он один! «Вот», говорит: «Бог
нам счастье послал! Сколько заработали!
Бери, ребята, добычу, потащим в Подновье,
родителей утешим!» Да куда там! Повози-
лись с ящиками, попробовали: сила не бер-
ет! Ясное дело не дотацим!

— А что в ящиках-то было? — поинтере-
совался картуз.

— А шут его знает! В потемках не видно было. Так и не узнали!

— Тяжелые ящики-то были?

— Может и не больно тяжелые, да мы-то сами были тяжелые после этого дьявола-то, после Центроспирту! Ну, сели опять на траву, горюем: как с добычей быть? Бросить, сам понимаешь, жалко! Все-таки счастье Бог послал! И тут вдруг опять таракит...

— Проезжающий?

— Вот, вот! Не то из города, не то из Подновья... Мы тут, правду сказать, понятие-то уж потеряли. Где перед, где зад, не очень-то смыслим. Но только едет телега и шабаш! Апелев говорит: «Мы его оставим! Прикажем отвести нас в Подновье к родителям! И добычу заберем!» Мы обрадовались, значит, потому что так складно оно выходит: транспортные средства нашлись! Видим в темноте телега чернеет, к мосту спускается... Мы это опять как выскочим!..

— Вот, дьяволы!—не выдержал хозяин:— Ну, как таких не судить? Одного страха сколько, я думаю, нагнали!

— Погоди!—прервал рассказчик:— Это еще неизвестно, кто на кого сколько страху нагнал. Выскочили мы, испугали, остановили, приказываем: «Клади ящики! Вези нас в Подновье!» Тот послушался, слова не говорил, ящики сжал на телегу. А потом и мы легли на телегу как дрова друг на дружку...

— И повез?

Аннадистов горько усмехнулся:

— Повез! Что ж? Ему ладно было над нами тешился! Он тверезый был, в полном порядке, а мы все одно что поленья! Нас всякий мог обойти!

— Кто же вас обошел?

— Да он самый и обошел! Как начнет кружить! Кружил, кружил, колеса, колеса, да в город, подлец этакий, и приехал вместо Подновья-то! Причалил к самой милиции! Выходи, ребята! Станция Вылезайка!

— В милицию? В участок?

— Вот, вот! Ведь это удумать надо! И ведь хоть бы что сказал, хоть предупредил бы, куда везет! Ведь такая скотина! Одно слово — изменник, предатель! А мы пьяные спим, ничего не понимаем!

— Ловко! — с восхищением промолвил деловой человек: — Поздравляю!

— Ну, тут налетели на нас мильтоны! Что такое? Кто какие? Почему к нам? По какому праву? А он-то руки в боки и горланит посреди двора: Хватай их, вяжи! Сиди в кутузку бандитов! Жарь их мошенников! Прицекай их, чертей! Они меня ограбили до самого дна! Ну-то из меня вынули: последнюю каплю крови выжали! Я на последние мои деньги товару в куперации купил, на последнюю мою телегу взвалил, последнюю мою лошадь запряг, а они меня убить хотели среди дороги раздели!

— Постой! — закричали деловые люди: — Кто же это был он-то?

— А тот самый, с которым первым мы баловались-то! Он соскучился-то по ящикам, опомнился, страх-то у него прошел, он и

вернулся в город заявку делать. А тут мы его и подцепили!

— А он вас подцепил! Вот, ловко-то! Вот, молодец!

Аннадистов мрачно возразил:

— Ему ладно было, тверезому-то! Он все понимал, а мы ничего не понимали!

— Что ж? Забрали вас?

— Само собой! Мильтоны как орлы, так и налетели, так крыльями и машут! Из ушей дым, изо рта пламя! Поволокли нас в темницу. Бандиты, да бандиты! Одно слово!.. А мы ревом ровно ребятишки. Какие мы бандиты? Мы поиграть хотели. И товару нам вовсе не нужно было! Так, ерунда одна! А главное, Центроспирт! Пьяные были, слабые. Над пьяным всякий куражится!

— А вы не балуйте—наставительно про-изнес хозяин, поднимаясь, чтобы принести пива новому посетителю.

— Ну, судили нас! — сказал Аннадистов:— А чего было и судить-то? Только смех один да срамota! Сколько хохоту этого самого было! Судьи, чай, и теперь еще горло дерут со смеху! А нам теперь нигде проходу нет, пальцами показывают: «бандиты»!

— Да ведь оправдали вас?

— Мало-ли что! Все равно судить не надо было! Ведь он все в целостности получил! Мы же ему и товар-то помогали складывать на телегу! Хоть об этом-то подумай бы! Нет, все одно: «бандиты» да «бандиты», и весь сказ! И товар получил, и помогали мы ему, а он нас же осрамил!

— А я бы вашего брата ни за что не оправдал! — сказал хозяин «Красавицы», — от одного страха можно умереть... Ночью, в темноте!

— Потому и оправдали, что не мы виноваты были, а...

— А Центроспирт? — язвительно промолвил хозяин:— Больно уж вы любите все на водку сваливать! Сами хороши! Ругать ругаете, а сами без пива и без Центроспирта и дня не проживете!

— Небоюсь, проживем! — протянул парень, — закроют вас, так еще как проживем!

— Кого закроют? Нас? — посомневался хозяин, — мы, брат, столпы! Нас не закроют!

Предсказание Аннадистова исполнялось. Нынче летом я снова был в этом городе, поднимался по лестнице — и уже не нашел «Красавицы». Пивная «Красавица» исчезла.

На ее месте, правда, стоял все тот же хорошенький, кокетливый домик с верандой, увитой зеленью. Но назначение домика было другое. Да и сам он был заметно подновлен и приукрашен. На нем красовалась ярко красная вывеска с золотыми буквами:

«ЭКСКУРСИОННАЯ БАЗА КОМСО-МОЛА».

У домика стояли раскрашенные весла. На веранде сидели молодые люди в пестрых майках и девушки в светлых кофточках. Они читали газеты, играли в шахматы, пили чай. Другие молодые люди с веслами, торопливо, со смехом, сбегали вниз к реке...

ИДИЛЛИЯ

Пароход понемногу убавил ход и подошел к перекату. Все видимое пространство реки Вятки впереди нас было словно цветами усеяно красными и белыми бакенами. Через реку неторопливо ехал воз с сеном. Ехал уверенно: очевидно, не пабум. Ясно было, что проедет благополучно! Но пройдет ли пароход там, где ехал воз — это оставалось пока еще загадкой.

— Может, волной перебросит! — гадал капитан, отирая обильный пот с красного лысого лба, — ходовая волна там на косе подойдет сзади... Попробовать что ли?

Лодман возразил:

— А воз-то? Видишь?

— Вижу! Воз возом, а пароход пароходом! Я серединой сплужу сейчас всего на трех четвертях! А носом и того менее!

— На трех с половиной! — поправил лодман.

— И то! Эх, скостнить бы половинку!

— А ты свали пассажиров на берег. Вот, и скостнишь.

Капитан подумал, поглядел на реку, на берег, на воз с сеном и послал вахтенного просить пассажиров погулять по берегу.

Пароход подошел к самому берегу, прямо под зеленый навес осоковой и лозняка, где толкались сонные, разомлевшие от жары, комары и летали большие белые бабочки.

— Нос в берегу! — крикнул с носа вахтенный.

— Держись! — командовал капитан. — Подожди нос шестью!

От сонных осокорей несло теплом и застоявшимся ароматом. Трава на берегу была сухая и низкая, и от нее тоже веяло теплом, словно от банной печи. На берег бросили узенькие, качающиеся сходни. Но берег был так бли ок, что многие пассажиры предпочитали прыгать с парохода прямо на уступчатый глинистый берег и с усилием взбирались наверх, на ровный луг. И вскоре весь берег зашестрел народом.

Почти никто не протестовал против этой неожиданной высадки. На Вятке никого не удивили бы такие происшествия. Уж такая река! По ней не столько едят, сколько стоят на мелях. А иногда бывает и так, что не пароход везет пассажиров, а наоборот: пассажиры везут на себе пароход. Поэтому прогулка с две-три версты по ровному месту в хорошую погоду никому не показалась обидной.

Пароход, немного облегченный после ухода пассажиров, дал короткий деловой свисток. Матросы стали отпихиваться от берега шестью.

— А вы нас все-таки не забывайте! — кричали с берега. — Не уезжайте без нас!

— Будьте благонадежны! Прогуляетесь до яра, а там опять к нам милости просим.

Пароход отвалил. Пассажиры, неторопясь, вперевалочку, побрели к соснам. Солнце

жгло спины. Ветерок с реки падувал рубашки и кофточки. Кое-кто усеялся, свесив ноги, на самом берегу. Очевидно решили, что торопиться нечего, а от добра добра не ищут: хорошо и здесь! Двое-трое парней быстро покидали рубахи и вюртки и полезли купаться. Но главная масса пассажиров все-таки побрела вперед.

Кто-то из идущих лениво спросил:

— Что это, граждане, там налесто? Овсы что ли? Что там желтеет?

— Какие овсы! Овсов не знает! Это горох!

— Да, ну? И впрямь ведь горох!

— Отличная эта штука! Но здешним местам первое лакомство!

— Горох здесь замечательный! По всей Вятке славится!

— Ну и поле! Конда не видать!

— Чье оно?

— Кто его знает! Тутешнее! Разве про горох спрашивают, чей он? Горох, и все тут!

— Эх, пощипать бы горошку!

— Ну, его! Еще шею накастыляют!

— За горох-то? Ничего подобного! Горох дело общее, коммунаное!

Через минуту уже стоял общий вопль:

— По горох! По горох! Эй, там, сзади! Крикните парнишкам, которые купаются! Пушай и они плут!

Вот, и горох! Приземистые курчавые шпалеры сплошной стеной тянутся вдоль межи. Желтые усы и плетники цепляются за ноги, словно просят остаться и покусать, не стеснясь. Сочные, лопнувшие от избытка горошин, стручки клонятся долу.

— И благодать же, братцы! Не горох, а малина!

Пассажиры для удобства улеглись прямо на землю. Земля горячая, как печь. Усы и ветки щекоят лицо. Стручки свешиваются прямо в рот. Солнце палит, а откуда-то с реки доносится протяжный, заунывный свисток. Словно во сне. Хорошо. Век бы лежать тут на гороховом поле! Поспать, пожевать гороху, опять поспать!

После упорной борьбы с протянувшимися поперек реки песчаными косами, давая то передний, то задний ход, буравя песок спидами колес, пароход кое-как пробрался через перекат. И с поломанной спицей и слегка погнутым бушпритом подошел к яру, над которым приветливо шумели сосны. Бросили сходни. Зацепились за сосну канатом. Все было готово для обратного приема пассажиров. Но на берегу под соснами никого не было.

Капитан дал продолжительный свисток. Потом дал другой, с подвыванием, с поголосками, чтобы пассажиры чувствовали, что их ждут. Никто не показывался на берегу.

— Ступай подальше, погляди! — приказал капитан матросу и ушел с раскаленной палубы к себе в каюту. Разведчик ушел и бесследно пропал. Прошло полчаса — никто не показывался.

— Это чорт знает, что такое! — возмущался капитан и отправил на разведки бодмана. С бодманом отирались промять ноги помощник машиниста и двое матросов. И они тоже стигнули. Тогда пошел помощник капитана.

— Возьмите с собой хоть пугач! — посоветовал капитан: — мало ли что может случиться.

Пропал и помощник!

Капитан не мог покинуть вверенное ему судно и поневоле остался на борту. С ним была жена и несколько матросов, оставшихся ему верными. Капитан с горя лег спать. Верные матросы ловили рыбу, для какой надобности стянули у буфетчика скатерть и действовали ею как неводом, сняв для удобства портки. Машинист спустил пар и ушел ловить рыбу с берега удочкой.

Солнце клонилось к закату. Комары стали кушаться все храбрее и больше. И вот, когда солнце уже коснулось своим раскаленным краем горизонта, на берегу произошло движение. Послышались оживленные голоса, пение, смех. Тихий яр ожил. Капитан выскочил на мостик. Так и есть: все вернулись! И пассажиры, и помощник машиниста, и помощник капитана, и бодман, и матросы!

— Где вы были, черти, дьяволы? Не слышали свистков, что ли? Я тут и свою, и парходолюбую глотку

надорвал! Бесчувственные! Вот возьму, да и не пушу нико о на парход! Ей-богу, уеду один! Оставайтесь тут на берегу!

— Не сердитесь, Иван Захарович. Пустите!

— Не пушу! Эй, убирай сходни! Вперед! до полнога!

— Ты кому командуешь? — спросил машинист с берега, свертывая удочку: — Мне, что ли? Пусти на парход, так я тебе дам какой угодно хол, а с берега не могу!

Помощник капитана умильно говорил своему начальнику:

— Да не сердитесь вы, право! Мы ведь на горохе были! Мы и вас не забыли. И вам горошку принесли!

И капитан только тут заметил, что все пассажиры были с зелеными букетами, а иные тащили на себе

целые вороха, так что походили на маленькие возы с сеном. Один такой воз въехал на палубу и приблизился к капитану. Это был помощник.

— Вот вам, Иван Захарович! Кушайте на здоровье!

Через пять минут парходолюбеским шипением отделился от берега. Пассажиры ахнули, пассажиры с первого класса устроились за чай. В первом классе стучали тарелки и ножи. После прогулки у всех разыгрался аппетит.

А капитан умиротворенный, довольный, без фуражки, подставляя обоженную лыспину вечернему ветерку, сидел у штурвальной рубки и лущил горох...



ЧУ ДЕС НЫЙ КРЕМ



Юмористический рассказ

Г. РАДКЛИФ

Иллюстрации Д. ВИЛЬКИНСОНА.

Как в кривом зеркале отражаются в этом незатейливом рассказе три любопытных элемента общественной жизни Англии: своеобразный романтизм кино, ежедневно питающего сотни тысяч народу; широкое развитие специфической отрасли промышленности — косметики, рассчитанное на женскую пустоту и тщеславие, и искусно поставленная газетная реклама, этот „великий двигатель торговли“.

Об его истинных достоинствах я, — всего лишь мужчина, — ничего сказать не могу. Я могу только отдать должное вдохновенному гению, изобретшему объявление, появившееся на странице «Ежедневного Листка». Женская часть населения Англии, Ирландии и Шотландии не могла устоять против этого объявления. Не могла — и женская часть населения Уэльса. Сколько бы господа Хибблвэйт ни заплатили за эту первую страницу, — а я держу пари, что цена эта была хорошая, — они должны были вернуть свои деньги с процентами на проценты. Из каждой тысячи женщин, прочитавших объявление, пятьсот немедленно же поспешили «поместить» шиллинг... в баночку «Чудесного крема». Остальные пятьсот поклялись «подумать об этом». Другими словами, они откладывали покупку до возвращения домой их мужей.

Даже мисс Майнсинг, старшая стенографистка фирмы «Арроу и сыновья» и та пала. Это было большой похвалой искусному объявлению, потому что мисс Майнсинг была одной из тех, которые «никогда не покупают патентованных вещей, рекламируемых в газетах». Но перед чарами первой страницы «Ежедневного Листка» не мог устоять ни один принцип. Мисс Майнсинг оторвала страницу и сунула ее в сумочку, намереваясь изучить это объявление в свободное время на службе.

Мисс Майнсинг было тридцать девять лет и за все эти годы она привлекла только одного поклонника. Имя этого славного человека было мистер Стёбс. Он был тучен и добродушен и был управляющим делами фирмы «Арроу и сыновья». Но мисс Майнсинг отвергла его, потому что в тайниках души, скрытых под весьма деловитой наружностью, она томила по романтизму.

Пола Негри и Этель Дэлль должны разделить между собой ответственность за этот единственный недостаток в прекрасном характере мисс Майнсинг. Наделало все — частое хождение в кинематограф и постоянное чтение романов. Мисс Майнсинг мечтала быть роковой женщиной; она мечтала тайне о возлюбленном с горящими глазами, едущем на верблюде среди песков и вытаскивающего револьвер при малейшем вызове. Но до сих пор появился один только мистер Стёбс, а мистер Стёбс хоть и был весельчаком, но совсем не подходил к типу верблюдо-песочно-револьверного человека. Зонтики, туманы и омнибусы были гораздо больше в его духе.

Придя на службу, мисс Майнсинг сняла галоси, напудрила нос, раскрыла пишущую машинку и принялась изучать объявление фирмы Хибблвэйт. Гигантский черный палец указывал прямо на ее лицо.

— Зачем носить шерстяную маску? — предполагалось, что говорил невидимый



обладатель этого пальца. — Зачем скрывать вашу красоту под слоем отжившей кожи? Одно втирание нашего «Чудесного крема» удалит обременяющие вас ткани и даст возможность проглянуть вашему настоящему двету лица. Сделайте это сейчас же и поразите ваших знакомых. Они никогда не видели вас.

Внизу была изображена особа, удаляющая свою шершавую маску и поражающая знакомых.

Между мисс Майнсинг и машинкой Ремингтон встало видение. Навеяно оно было сденой из виденной ею картины с артисткой Вильмой Адель. Фоном был Восток, — по крайней мере так мечтала мисс Майнсинг. Тут была мраморная терраса и пальмы, много песку и дурного света и она сама (конечно, без шершавой маски) рядом с шейхом в верховых рейтузах:

— Джеральдина, — шептал он, — моя любовь сводит меня сума. Скажи, что ты придешь. Если ты откажешься, я возьму тебя... силой, если будет нужно.

— Начальник вас зовет, — сказал мальчик, служащий в конторе.

Мисс Майнсинг отогнала подальше видение, схватила бумагу и карандаш и побежала в кабинет начальства. Увы! он был даже меньше шейхом, чем мистер Стёбе. Тот не страдал, по крайней мере, катарром носа.

— Доброе утро, миш Майнчин, — прогнусавил мистер Арроу. — Забишите, пожалуйста, Господам Боттль и Боттль и Боттль.

Мисс Майнсинг писала, но видение продолжало витать где-то в уголку мозга. Не думал мистер Арроу, что он диктовал роковой женщине.

— Забисали?

— Да, сэр, — все еще погруженная в мечты, мисс Майнсинг сделала одну из знаменитых улыбок Вильмы Адель — «Поди сюда». К счастью, мистер Арроу не смотрел. Иначе он, наверно, отказал бы ей от места.

— Вам сегодня больше незачем приходить после обеда, — сказал он. — Вы можете итти, если хотите!

— Благодарю вас, сэр, — сказала мисс Майнсинг низким, грудным голосом. В последнем романе, который она читала, героиня сводила сума сильных мужчин своим низким, грудным голосом.

— Что вы сказали? — переспросил мистер Арроу.

— Я сказала: благодарю вас, — повторила своим собственным голосом мисс Майнсинг. Потом в недоумении сделала пенсне, сваявшееся от улыбки «поди сюда», и вышла из комнаты.

На своем месте она еще раз перечитала объявление. Конечно, если «Чудесный крем» Хибблвэйт (маленькая банка с завинчивающейся крышечкой, 1 шиллинг) достигал всего, что

было обещено, он заслуживал название «чудесного».

— Он, — я повторяю то, что было написано в объявлении, — придавал вам Очарование, которое Не проходит. Он уничтожил Усталость Лица и эти Некрасивые Морщины. Он возвращал вам Индивидуальную Красоту Вашего Цвета Лица. Он уничтожал даже смущающий вас Блеск Лица. Не было утомительного ожидания результатов.

— Вы просто накладывали крем кончиком пальца, и целебная мазь проникала в ваши поры и удаляла пыль из ваших нежных тканей, оставляя вашу кожу ароматно-чистой, гладкой, такой, какая по праву является Наследием Каждой Женщины.

— А разве вы не хотели бы вызывать желание вас целовать? — спрашивала фирма Хибблвэйт особенно жирным шрифтом. Мисс Майнсинг подумала, что хотела бы.

Она была рутинеркой и решила только тогда, когда прочтала до конца все объяснение. Тогда она записала себе в книжечку: «купить «Чудесный крем» Х-та», изгнала этот вопрос из своей деловой головы и занялась письмом к господам Боттль и Боттль и Боттль.

В пять минут третьего она вошла в аптекарский магазин на Ханс Стрит. Это был очень маленький магазин. Сам хозяин ушел обедать и налицо был только один приказчик, угреватый и нервный юноша.

Мисс Майнсинг заулыбалась ему через стекла пенсы.

— Мне нужно, — сказала она низким грудным голосом, в котором она упражнялась, — баночку «Чудесного крема Хибблвэйта» за шиллинг.

— Простите?..

— Чудесный крем Хибблвэйта. Шиллинг баночка, — сказала мисс Майнсинг голосом, который ей дала для употребления природа.

— Чудесный Крем? Сейчас.

Он принялся выдвигать ящики. К концу пяти минут он сознался, что весь их Чудесный крем разошелся.

— Крем Помкинса очень хорош, — предложил он. — Если бы вы желали попробовать...

Но мисс Майнсинг была не из тех потребителей, от которых можно отделаться «таким же хорошим». Самый факт, что так трудно получить Чудесный крем, увеличил в ее глазах его ценность. Было одно мгновение панического ужаса, когда мисс Майнсинг мысленно увидела себя единственной женщиной в Лондоне, все еще носящей на лице шершавую маску.

— Мне нужен именно крем Хибблвэйта, — сказала она. — Если не найдется у вас, я пошщу в другом месте.

— Одну минуточку, — сказал угреватый приказчик, — я только взгляну...

Он скрылся где-то в глубине магазина, чтобы снова появиться несколько минут спустя с сияющим лицом человека, оказавшего услугу и сознающего это. Он с поклоном поставил на прилавок маленькую баночку с завинченной блестящей крышечкой. Баночка была склеена надписью «Чудесный Крем Хибблвэйта», а под этим напечатаны были правила употребления.

— Последняя баночка в магазине. Сегодня утром этот крем брали нарасхват. Я не знал, что у нас оставалась одна баночка.

— Говорят, он очень хороший, — улыбнулась мисс Майнсинг и положила на прилавок шиллинг.

— О, очень хороший. Гораздо лучше, чем обыкновенно бывают такие средства. Больше ничего не угодно? Вам завернуть?

— Нет, благодарю вас. — Мисс Майнсинг сунула банку в свою сумочку и поспешно вышла из магазина. Она горела желанием сейчас же испробовать крем. Зачем ходить с шершавой маской хотя бы на мгновение дольше, чем это необходимо?

Но, проходя мимо кинематографа, она все же изменила свое решение.

«Страсть в пустыне» пользовалась успехом и уже висел афишаг, что все дешевые места проданы. Мисс Майнсинг подумала, что пока она пойдет домой, чтобы испробовать крем, все места могут оказаться занятыми. Она же как раз была расположена наслаждаться «Страстью в пустыне». Она купила билет и вошла.

Огни были притушены, и кинематограф был темный, таинственный и притихший, когда мисс Майнсинг на дыпочках прошла на свое место. Большая драма как раз начиналась. Невидимый оркестр рыдал, и мотив был полон печали и безнадежной любви. Это — чтобы создать настроение.

Мисс Майнсинг вытерла пенсэ и стала учащенно дышать. Под обаянием кинематографа она всегда становилась другой женщиной. Она забывала, что она старшая стенографистка и переносилась в романтический мир, где не было ни мистера Арроу, ни мистера Стёбса. Она даже забывала про пальцы на большом пальце левой ноги.

На экране засветилась надпись:

„Гибкая женщина, с кошачьей грацией, змеей скользила среди хищных мужчин. Они смотрели, они желали и они не смели“.

Потом вы видели картину, изображающую, как Вильма Адель скользит змеей. Хищные мужчины, которые не смели, бродили на заднем плане.

Мисс Майнсинг, совершенно ошибочно убежденная, что она похожа на Вильму Адель, завертелась на своем бархатном сидении. «Гибкая женщина с кошачьей грацией»... Сиденье затрепало и сосед сказал: «ш-ш-ш».

— Хищные мужчины, — подумала мисс Майнсинг.

Картина продолжалась. Появился страшный сын Знойного Востока. Были любовные сцены, трогательные расставания, выстрелы из револьвера и ураганы в пустыне. Шейх похитил гибкую женщину. Вы видели их, едущих верхом на верблюдах по безграничной пустыне Сахары.

Поцелуй меня, Адская Кошка, — задыхаясь сказал он, и хотя она извивалась и боролась, он смял ее в мускулистых руках.

Мистер Стёбс не мог бы этого сделать! Он ни разу еще не называл мисс Майнсинг «Адской Кошкой». Однажды, в минуту раздражения, он сравнил ее с танком, но на следующий же день извинился.

— А разве вы не хотели бы вызывать желание вас целовать? — пронеслись в голове мисс Майнсинг слова объявления. Рука ее скользнула в сумочку и пальцы сжали баночку с Чудесным Кремом. Почему бы нет? В кинематографе было темно и никто не мог увидеть, что она делает.

С устремленными на экран глазами она отвинтила металлическую крышечку, сняла перчатку и стала кончиком пальца накладывать на лицо крем. Он приятно охлаждал ее разгоряченные щеки. Начав, она проделала все добросовестно. Скрытая тем-

потой, она старательно втерла крем легкими, круговыми движениями, не забывая и кожу под подбородком. Кончив, она закрыла баночку, снова спрятала ее в сумочку и надела перчатку. Чудесное действие началось, целебная мазь пропитала в поры...

— «К концу двадцати минут вы убедитесь, что поглощающие свойства крема магически уничтожили все дефекты эпидермы и осталась чистая прекрасная кожа без единого пятнышка. Ливиний крем может быть тогда удален кусочком чистого полотна и лицо припудрено». Так говорило объявление.

Деловая дисциплина приучила мисс Майнсинг к аккуратности до мелочей. Она в точности исполнила указания. Она вынула из сумочки чистый платок, удалила лишний крем и напудрилась. Дело было сделано! К худшему ли, к лучшему ли — оно было сделано.

«Страсть в пустыне» карабкалась к великоленному апофеозу. Бесстрашный Сын Знойного Востока убил негодяя, а гибкая женщина, градиозная, как кошка, лежала у его ног. Потом вы видели, как они шли рука об руку по бескрайней Сахаре. И финалом появилась заключительная торжествующая надпись на экране:

«Луна может рождаться и идти на ущерб, пески пустыни могут остывать, но любовь — король — будет царствовать вечно».

Мисс Майнсинг дрожала как в эстафе. В эту минуту она не отличила бы нишушей машинке от швейной. Она страдала от слишком сильной дозы сгущенного романтизма.

Но как правило, эти романтические настроения мисс Майнсинг длились очень недолго. Она оставляла их обычно в кинематографе. Достаточно было ощущения тротуара и шума уличного движения, чтобы снова превратить ее в делового и практичного человека, которым восхищался мистер Стёбс. Но на этот раз ее мечты вместо того, чтобы испариться при выходе из кинематографа, получили новый толчок. Мужчина на тротуаре обернулся, увидел ее и улыбнулся. Такого случая никогда еще не бывало в ее жизни. Не съехала ли на бок шляпа или, — еще хуже — не свалилось ли Нечто? Потом она вспомнила. Чудесный крем Хибльвэйт! Так объявление не лгало, когда говорило, что употребляющая этот крем улет вызывает восхищение, которого достойна каждая женщина. И крем подействовал так скоро! Удивительно!

— Хищные мужчины, — думала мисс Майнсинг, и змеей скользнула по тротуару, как только может скользить гибкая женщина, градиозная, как кошка. Но, чтобы удачно скользить, требуется известная практика. Когда вы начинаете пробовать, вы рискуете налететь на людей. И мисс Майнсинг налетала несколько раз.

Еще один мужчина улыбнулся. Мисс Майнсинг, теперь уж совсем вне себя, ответила на улыбку. Ее пенснэ свалилось, но она не надела его. Не беда, что она почти совсем слепая без пенснэ. Это был час ее торжества.

Взгляд через плечо сказал ей, что хищный мужчина повернул и следовал за ней на приличном расстоянии. Она затрепетала от восхитительного ощущения опасности. Она стала еще быстрее скользить змеей и когда дошла до входа в Хэнс Парк, хищный мужчина прекратил погоню. Но она не торопилась домой. Какая женщина, только что сбросившая шершавую маску, станет торопиться домой?

В парке было немного народу, но все, кто был, улыбались мисс Майнсинг. То есть все, кроме детей, которые с криком бежали к матерям. Но мисс Майнсинг не обращала внимания на детей. Она оглядывалась назад, чтобы увидеть, не преследуют ли ее еще другие хищные мужчины. Они преследовали. И повидимому, самым хищным из всех был полисмен. Он был таким хищным, что положительно бежал.

— Пораженный полисмен терлет разум, — думала мисс Майнсинг, мысленно представляя себе подходящие заголовки для завтрешней газеты. Трагедия в

Хэнс Парке. Роковые чары прекрасной брюнетки.

— Слушайте, вы, — кричал представитель закона. — Остановитесь на минутку. Тут этого не полагается делать.

Если бы мисс Майнсинг была в нормальном настроении, она сразу остановилась бы. Но она не была в нормальном настроении. Она долго смотрела в кинематографе, как хищные мужчины преследовали гибких женщин, и это, плюс неожиданные улыбки, плюс головокружительное ощущение только что сброшенной шершавой маски, ударило ей в голову. То, что ее преследовал в Хэнс



Парке хищный полисмен, казалось естественным и подходящим апофеозом для удивительного дня. Мисс Майнсинг перестала скользить змеей и побежала. Когда они достигли противоположного выхода из парка, мисс Майнсинг сделала знак приближавшемуся автобусу, хотя и предпочла бы сейчас, по своему настроению, верблюда пустыни. Кондуктор, повидимому, тоже хищный мужчина, помахал в ответ и послал воздушный поцелуй. Пассажиры наверху встали и весело приветствовали ее. Старый джентльмен на тротуаре протянул руки и зашикал на нее, точно она была сбежавшей овцой.

— Гибкая женщина, грациозная, как кошка, она змеей скользила среди хищных мужчин, — думала мисс Майнсинг, стараясь обогнуть старого джентльмена. Она уже начинала подумывать о том, стоит ли быть такой привлекательной. Неужели ей теперь до конца своих дней придется спасаться от хищных мужчин?

Тяжелая рука опустилась ей на плечо. Стараясь обогнуть старого джентльмена, она потеряла время и полисмен настиг ее.

— Нельзя здесь этого делать, — тяжело дышал он. — Да что с вами? Пари это?

— Если вы меня будете беспокоить, я пожалуюсь на вас, — сказала мисс Майнсинг. У нее вдруг явилось сомнение, действительно ли она так привлекательна. Полисмен казался очень рассерженным и несколько не хищным.

— Пожалуйста на меня? — сказал он. — Это хорошо! Послушайтесь-ка моего совета, да идите домой. Разве у вас нет знакомых, которые смотрели бы за вами?

Мисс Майнсинг уставилась на него. Иллюзии ее быстро рассеивались. Она одним толчком вернулась в действительный мир.

— Вид у вас приличный, — продолжал полисмен, — и спиртным от вас не пахнет. Вы хотели собирать на какое-нибудь миссионерское общество или что?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — мисс Майнсинг начинала сердиться. — Нет ведь, закона, запрещающего проходить по парку, не правда ли?

— Проходить по парку! — сказал полисмен. Плясать канкан через весь парк — больше было похоже на это. А ваше лицо? Вы, верно, скажете мне теперь, что у

вас такое лицо от природы? Идите домой да вымойте его.

— Мое лицо! — мисс Майнсинг, охваченная ужасным сомнением, стала искать в сумочке зеркальце. Она заглянула в него и, — к ее вечной славе, — не упала в обморок. Потому что лицо, глядевшее на нее из зеркальца, было чернее туфеля. Это был густой оттенок черного цвета, который блестит. В сравнении с лицом ее уши и веки казались белыми, как только что выпавший снег.

— Расходитесь, — обратился полицейский к толпе. — На что тут смотреть? Подумаешь, что вы никогда не видели сороку!

Мысли проносились в голове мисс Майнсинг. Чудесный крем Хибблвэйт? Не та баночка, — или, вернее, не то содержимое в баночке. Да, вот что произошло!

Мисс Майнсинг не была обыкновенной женщиной. Ее дисциплинированный ум сразу охватил положение и овладел им. Она как бы мысленно встряхнулась, и ее романтический припадок испарился, оставляя только грозное решение получить от аптекарского магазина удовлетворение за повреждения.

— Это произошла ошибка, — сказала она полисмену. — Позовите, пожалуйста, таксомотор. Я хочу ехать домой.

Из домашнего уединения она позвонила по телефону в аптекарский магазин, адрес которого знала. Да, произошла ошибка. Хозяин магазина воспользовался пустой банкой из-под крема для сапожной мази собственного изобретения. Он чуть не плакал.

Мисс Майнсинг повесила трубку. Следующим ее действием было вымыть лицо. Потом она посидела и подумала, прежде чем снова подходить к телефону.

— Алло! Это вы, мистер Стёбс?

— Да, кто говорит?

— Это мисс Майнсинг... Ну, Ада, если вы предпочитаете. Послушайте, я думала над одним вопросом.

— Правда? — голос мистера Стёбса дрогнул.

— Я передумала.

— Правда, Ада?

— Да. Мне кажется, что прежде, чем мы пошлем эту накладную, мы должны были бы выяснить господам Боттль, и Боттль, и Боттль, что...

ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ ПРИРОДЫ И ДРЕВНЕЙ МУДРОСТИ

Очерк 1-го 3.

РАСКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ТАЙНА ПРИРОДЫ.—ДРЕВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МУДРОСТИ.—ВЕЛИКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ НЕ РАЗДЕЛЯЕТ, А ОБЪЕДИНЯЕТ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИЛЫ.—АЛКОЛОИД РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ—ГОРМОНУ ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА.

Кто у нас не слышал про «траву Кузьмича», *Ephedra vulgaris*, которую так изобилует Самарская губерния? Газеты довоенного времени были переполнены объявлениями об этой дико растущей травке, получившей свое местное имя от давним-давно умершего деревенского знахаря. Бузулукский уезд, да и многие другие наживали большие деньги, экспортируя эфедру, считающуюся, благодаря рекламе и народной молве, чуть ли не панацеей от всех болезней, в культурные центры России.

Усиленная торговля «травой Кузьмича» сейчас заглохла, тапоственное, невзыскательное растение перестало быть предметом спекулятивного ажиотажа, но зато остановившая на нем свой пристальный взгляд наука сделала эфедру центром внимания и объяснила великую тайну, до которой эмпирически, опыту, уже тысячелетия назад добралось человечество.

В самом деле, еще несколько тысячелетий назад употребляла народная китайская медицина растение, которое называлось там Ма-Хуанг. Старейшие медицинские предания времен легендарного китайского императора Шен-Нунга, за 5000 лет до н. эры, дают нам указания на то, что тогда ценили Ма-Хуанг, как прекрасное потогонное и понижающее температуру средство и особенно рекомендовали его при кашле. Упоминается это растение и в различных выпусках тридцатитомного труда старой китайской медицины, в так называемом Пентсао, появившемся впервые в 1108 году. Автор его—китайский врач Танг-шэнь-вей.

В одной из книг этого древнего труда читаем: «Ма-Хуанг освобождает девять отверстий тела (глаза, уши, нос, рот, задний проход и мочевой канал),

регулирует давление крови, раскрывает поры и лежащие под ним ткани. Прекращает несварение, уничтожает избыток воды, изгоняет дурные испарения в кишках и прекращает маллрию».

Интересны в этом труде иллюстрации. Хотя Ма-Хуанг изображен самым примитивным образом, можно все же узнать характерные очертания растения. Это видно и на воспроизводимом здесь древнем рисунке, свидетельствующем, что Ма-Хуанг—это *Ephedra vulgaris*, наша русская «травка Кузьмича».

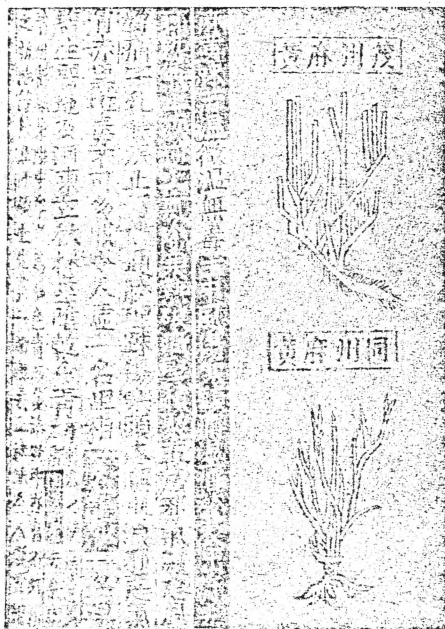
И в наше время в Китае знают хорошее действие Ма-Хуанга при астме и простудах. Растение это предлагают на всех углах Цепина в виде зеленовато-коричневых прутиков, в 10—25 см в длину и в 1 мм в разрезе. Стар и млад в Среднем государстве умеет готовить отвар из Ма-Хуанга и знает его целебные свойства.

Растет *Ephedra* главным образом в Азии, особенно в Китае. В Европе она встречается в России, в Венгрии, изредка в Тироле, а также и по береговым полосам некоторых ю.-европейских стран.

Способ употребления этого растения—самый разнообразный. Камышки варят эфедру с молоком и маслом и употребляют эту смесь против ревматизма. В Крыму и в Сибири считают, что в эфедре нашли целебное средство против лугаса. Другие народы также пользуются этим растением для лечения ломоты в костях. Но лучше всего изучили действие Ма-Хуанга китайцы: благотворное влияние этой травы на органы дыхания — главная особенность эфедры.

Это древнее лечебное средство обратило на себя наше внимание только в последнее время.

Эфедра нашла дорогу в современную терапию лишь после того, как японцы Яма-



Описание и изображение *Ephedra vulgaris* в китайской медицинской книге 1108 г.

наши и Нави в 1887 г. открыли заключающееся в ней вещество — эфедрин. Год спустя одной из алколонных фабрик в Германии удалось изолировать из *Ephedra vulgaris* эфедрин. Можно было бы предположить, что после изолирования чистого алколонда ничто уже не мешает употреблению эфедры в медицинской науке. Но эфедрин странным образом исчезает из поля медицинского внимания вскоре после его нахождения, только в 1923 г. начинает снова возбуждать интерес врачебного мира. Начинается исследование фармакологических способностей этого вещества. Широкое применение эфедрина привело к тому, что его стали заменять искусственным. Научные опыты в 1926 г. дали технически легкий способ синтеза эфедрина. Уже год спустя, в 1927 г., в продаже появился синтетический эфедрин под названием «эфетонина». Медицина обогатилась средством, которое не только облегчало, но уже и исцеляло тысячи больных.

Но сила и значение медицинского открытия не ограничилось сравнительно узкими фармакологическими рамками. Неизмеримо велико последнее биологическое открытие, расширяющее философский взгляд человека на природу. Оказалось, что эфедрин и эфетонин производят такое же действие на нервы, мускулы и сосуды, как вырабатываемый надпочечниками гормон супраренин, употребляемый в медицине в форме синтетического адреналина. Между адреналином и эфетонином существует и близкое химическое средство.

Перед нами тут очень интересный случай, когда вещество, вырабатываемое клеткой растения — алколонд эфедрин, — химическим составом и по биологическому действию почти идентично с продуктом животной внутренней секреции: гормоном адреналином. Этот факт обратил внимание научных кругов на эфедрин. Как велик этот интерес, доказывают многочисленные исследования и статьи, посвященные за последнее время фармакологическим и терапевтическим особенностям этого вещества.

Чтобы представить себе действие эфедрина или эфетонина, нужно обратиться



Ветка *Ephedra vulgaris*. Лечебное свойство этого растения, из которого в последнее время был получен эфедрин, равный адреналину, было известно китайцам уже 5 000 лет назад.

к описанию применения супраренина или адреналина. Важнейшим и терапевтически наиболее важным значением адреналина считается воздействие его на так называемую симпатическую нервную систему. Результатом применения является сокращение кровеносных сосудов и вызываемое этим повышение кровяного давления. Кроме того адреналин влияет на бронхи. Происходит прекращение судорог бронхальной мускулатуры.

Такие судороги являются причиной бронхальной астмы, от которой страдает столько людей.

Причины болезней, излечиваемых адреналином, бывают различного рода. Большею частью это отравления, вызываемые различными веществами у таких лиц, у которых по отношению к этим веществам существует слишком повы-

шенная чувствительность. Кому неизвестно, что у многих людей земляника, напр., и раки вызывают сыпь на коже. Такая повышенная чувствительность бывает у некоторых лиц по отношению к животному белку, к известным сортам рыбы и т. п. Есть целый ряд болезней такого рода, и к нам же относятся бронхальная астма и сенная лихорадка, некоторые формы хронических язв и другие. Для медицины было поэтому большим событием, когда эфедрин или эфетонин оказался веществом не только родственным адреналину, но и превосходящим его: у эфетонина более стойкое, продолжительное действие. Притом им гораздо приятнее лечиться, так как он может быть дан в виде таблеток.

Еще раз мы убеждаемся, что современная терапия извлекает иной раз много ценного из старой народной медицины. Имело бы большой смысл обратить серьезное внимание на так называемые старые «домашние средства». Как в случае с эфедрой, вероятно, мы потонули бы на многие применимые терапевтические вещества, которые пока еще с пользой употребляются только в деревнях знахарями. И на Востоке, и на Западе велика народная мудрость. В особенности известно про китайцев, что они исключительно хорошо умеют и умеют наблюдать природу.